

Станислав Снытко

БАКБУК И ЖАБА

Н. Ст.

Их-де заставило выйти в море не что иное, как любознательное желание посетить, увидеть, послушать и постигнуть оракул Бакбук и получить от Бутылки ответ на недоумённые вопросы...

Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Здесь покоится будущий президент Чили.
Автоэпитафия Сальвадора Альенде

Если дом — это место, где впервые проснулся, то твой дом — город мёртвых.

Нелепая мелодия из шкатулки стрекочет на окраинах города, где твой дом.

Причудливые твари, рыбки-гибриды, демоны и марионетки возятся в пыли под механическую мелодию, играя суставчиками, хохоча, пожирая друг друга.

Заиндевелым лицом тебя окунают в домашнюю пыль, в мохнатую лепёшку из пыли. Чья-то невидимая конечность угощает подзатыльниками, чтобы голова хлопалась в пыль.

Будто мокрым рыбьим хвостом. Хватать — и мордой в пыль.

Пыль, шкатулка, рука — единое существо, одна сатана. Как Одрадек. С тупым, озябшим упорством, как случается только дома, дребезжит шкатулка, и ледяная культя отвешивает затрещины, пока дух не выскочит из тела.

Выскочив, измученный и освобождённый, он устремляется к Луне.

— Бегство и страх, — проквокал кто-то. — Что-нибудь, кроме бегства и страха, тебе известно?

Он подумал: «Кто-то же вынужден давать ответы. Кому-то придётся. Неужели мне?» В это последнее утро он как бы не проснулся, хотя безусловно являлся проснувшимся, окончательно вставшим. Будто младенец, который после выхода из чрева ещё никогда не спал, но уже дышал в мире — освобождённом от сна. Зелёный туман, окутавший окрестности, делал это место бескрайним, а место, сколько ни убеждай себя в обратном, было некрополем, с белыми, точно из монолитов соли, надгробиями.

Прошлое оставалось при нём: цитаты из книг, силуэт Габриэля (высеченный из арктического льда) и он сам — вечный дурак, живой мертвец, первое лицо единственного числа — был при себе, как панцирь при черепахе, и не отвертеться, не спастись бегством. Как не отвертеться от гноя.

Карусель пробуждений и засыпаний — бикфордов шнур с нанизанными на него снарядами: каждый день очередной снаряд взрывался, нашпигованный поражающими элементами, и, случалось, он открывал глаза в неведомом месте, как если бы сон, дремота, спячка была транспортным средством, а Луна бормотала: «Спи, Эндимион. Скоро кончится твоё путешествие».

— Señor! — воскликнули сбоку, и Андрей не успел заметить, как ему в руку вложили амулет от сглаза — стеклянное око в ободке из многоножки. Взыграла труба, и Андрей поспешил дальше по проспекту, вдоль которого на бесчисленных лотках шла бойкая торговля безделицами, а странный товар через мгновение снова оказался в руке продавца.

Медленно и лениво, как осьминог, над проспектом извивался громадный чилийский флаг: дисциплинированная геометрия красного и белого прямоугольников, а в левом верхнем углу полотнища помещался синий квадрат с чеканной белой звездой. «Не флаг, а военный парад», — подумал Андрей.

На ледяном ветру и беспощадном солнце сгорал и замерзал одновременно белоснежный дворец Ла Монеда, в котором полвека назад погиб Великий Магистр первой чилийской масонской ложи Вальпараисо, завзятый шахматист, социалист, врач и президент Сальвадор Альенде. Его убили здесь, во дворце с просторной эспланадой, убили, убили, убили, убили, — даже если он застрелился сам, всё равно: его убили...

— К дьяволу стратотерпца! — из кладбищенского тумана снова донеслось непримиримое кваканье. — Вспомни лучше про горы. Ты видел Анды? Прогуливался в пампасах?

Неужели он видел всё это? И дворец в Сантьяго, где замучили Сальвадора, и стадион в Сан-Паулу, где Пеле репетировал свой знаменитый удар, и Анды из самолёта — как кучки коричневого порошка или, скорее всего, какао, — безжизненные груды земной поверхности, которые можно выпить, растворив в горячем молоке...

Вдруг пронзительный обезьяний вопль, взрыв животной истерики огласил кладбищенскую местность. Он звучал не здесь, доносился не отсюда, не совпадал по времени с кладбищем. Далее ещё один взрыв, потом тишина — без воплей, без обезьян. Путешествие кончилось.

Глава I

Я где-то прочёл, что, вернувшись в наш свет, мертвецы видят его изменённым, словно опрокинутым в мёртвость. Надо сказать, такое случается и у живых.

Всё описанное происходит на кладбище, разворачиваясь в памяти — в промежутках между репликами или в обрывочном сне, когда сознание гаснет. Двое ведут разговор. То исчезая во мраке, то снова появляясь (это ночь сменяется днём, а день — ночью), они изъясняются прерывисто, как будто один из них тонет, то высовывая голову над водой, то уходя под воду. Восход созвездия Южный Крест отмечает паузу в разговоре.

Разговор происходит прямо сейчас, без всякой записи, и о нём некому будет вспоминать.

Как известно, в незапамятные времена, при царе горохе и царице морковке, жабу и грифа пригласили на небо в гости. Надменный гриф не хотел отправляться в дорогу вместе с грузной, неповоротливой жабой. Однако земноводное перехитрило птицу и, забравшись в гитару, которую гриф любил носить с собой, попало на небо. Когда на небе все стали спрашивать грифа, отчего не пришла его дальняя родственница — жаба, гриф лишь отмахивался — дескать, куда такой жирной добраться на небо. Тем временем жаба вылезла тайком из гитары и, к ужасу присутствующих, предстала перед ними со словами: «Et in Arcadia ego». После сего жаба опять незаметно убралась в гитару. Когда посрамлённый гриф возвращался с праздника, жаба неуклюже пошевелилась внутри, а гриф недолго думая перевернул гитару отверстием вниз — и жаба, вывалившись из гитары, понеслась к земле, осыпая горы и пустыни проклятиями за то, что не желают перед ней расступаться.

Но сейчас не об этом.

Описывать этот город нет ни малейшего желания — как чужой триумф. Просто представьте вереницу пробуждений, всякое из которых перебрасывает проснувшегося в неведомое место; так вот, этот город стал последним местом. Андрею город показался самым унылым, тоскливым, пустынным, убогим из всех, что он видел или мог бы увидеть. Оранжевые, бирюзовые, салатные, прочие выжигающие глаз краски, которыми были покрыты железные листы, которыми были обиты одноэтажные домики, которыми были застроены улицы города, к счастью, давно облупились. В щелях под облупившимися листами циркулировал ветер, песок и потоки дождя. От порывов ветра несчастные листы трепыхались и хлопали по деревянным сваям, как плавники, будто дома хотели уплыть из города, но море бросило их захлёбываться на мели.

Шеренги разноцветных домов, хлопая листовым железом, убежали во всех направлениях, никуда не убегая. Жестяная табличка, накренившись на почерневшем древке, предупреждала об угрозе цунами, без того очевидной. Светофоры были погашены, один ветер расхаживал по голым улицам, перемещая частицы солёной влаги. В прибое таяли скелеты псов.

При другом разговоре, сотканном из условностей, было бы неважно, какие моря омывают сушу, на которой зиждется город; я же обязан записать всё, что известно о городе, хотя мне доступно не более, чем самому мертвецу. Если уместить в одну фразу, то этот город не *где*, а *когда*. Но теперь не об этом.

Разнёсся трубный глас, жужжанье многих разом согнанных мух заполнило атмосферу, и первой свежести мертвец (вы с ним знакомы) приподнялся оглядеть своё помещение. Белые-белые стены, липкий собачий свет, разбросаны книги... Случается ли у живых мертвецов, скажите пожалуйста, утренняя эрекция? Он встал, залез в одежду,

скомканную у постели, и проверил, запустив руку под резинку. Очень даже случается! Исполинская, неугомимая, настырная. В полной тишине.

Строка, ещё строка. Он захлопнул первую попавшуюся книгу. Он читал эту книгу раньше, когда был среди живых. Кафка. «Чего только ни выдумают эти живые! Разве не простодушие, — думал Андрей, — грезить о превращении у себя в постели в *страшное насекомое!*»

И вновь разнёсся трубный глас, жужжанье многих разом согнанных мух заполнило атмосферу, и он, как ему показалось, приподнялся над собственным жёлто-серым с голубоватой искрой, как кусок бри, мужским телом, посмотрел в глаза: неужели мертвец? И неужели помещение, всё вокруг — такое же творожное месиво, как его слепые бельма, хоть бери ложку и выскрёбывай из глазниц? Мой бедный маленький труп, — и он медленно задышал над самим собой, как коты обнюхивают горячее. Целовал ключицы, увлажнял приоткрытые губы, пересчитывал языком рёбра, чего только ни вытворял для этого тела, — но тело было сухим, как муха на окне. Он отложился от самого себя.

Дряхлое, как собачий лай, чередование вдохов и выдохов. Он залез в одежду, скомканную у кровати. Он собирался уйти, сам не ведая, куда рассчитывает добраться; белизна обступала его со всех сторон, и он чувствовал себя муравьём, забравшимся в сахарницу.

Но разнёсся трубный глас, жужжанье многих разом согнанных мух заполнило атмосферу, свихнувшиеся часы под куполом черепа затрезвонили, подобно будильнику, затем что-то вроде чавканья глины или шлёпанья по голой заднице (*он и это успел с собой сделать?!*) присоединилось к симфонии, и вот ещё что — утренняя эрекция, и та книга, и хлопоты над безответным телом — его собственные ласки.

Наконец, он увидел себя стремящимся прочь, как пробивают дорогу сквозь людскую массу: «В ЧИЛИ МИР И ПОРЯДОК», — неслись транспаранты, во все стороны с пронзительными воплями, таща в зубах погребальные предметы, бросились врассыпную обезьяны, откуда-то потянуло ароматом коленкора, точно распахнулся чулан с книгами, — на одном из корешков сверкнуло заглавие: «МАЛГИЛ», — следом проехало тёмное небо с Луной (*её-то куда понесло?*), и тогда Андрей почувствовал себя младенцем, будто своим пробуждением одолел пренатальную сонливость, избавил человечество от неё навсегда.

Теперь о необыкновенных отношениях Каспара Хаузера с кошкой.

Будучи в доме профессора Даумера, написавшего впоследствии трактат о своём постояльце, Каспар Хаузер свёл дружбу с профессорской кошкой.

Эта сварливая кошка, никому не дававшая брать себя на руки или гладить, охотно бегала с Хаузером по саду, позволяла отнести себя туда и сюда, ластилась к его ногам, брала из рук его чёрный хлеб, к которому обычно не притрагивалась, даже если была голодна, и как-то раз поднесла Хаузеру длинную ленту, которую, верно, где-то нашла, приглашая его играть.

Но когда Каспар Хаузер научился употреблять в пищу мясо... Употребление мяса подавило в нём все магнетические способности. Животное оцарапало его, как делало со всеми другими.

«И сердце природы закрылось ему».

Разговор происходит сейчас, на муниципальном кладбище прогорклого чилийского городка, и некому будет вспоминать об этом разговоре, некому его записать.

Кладбище было в городе, город — на краю материка, а в небе висело созвездие Южный Крест.

На пляже, заваленном пустыми винными бутылками, проснулся Андрей, ни кровинки в лице. Голова трещала, как после бурной ночи, — хотя ночь выдалась спокойной, мертвецки тихой, дьявольски зябкой. Огни мерцали на другом берегу пролива, и едва уловимый винный пар шевелился в тумане лениво, как осьминог, вытасченный на берег.

За сном следует пробуждение, за мечтой — кошмар, за пляжем — кладбище. Андрей провёл вечер за хмельным разговором, это точно помнил, — но с кем разговаривал? Событыльник улизнул, как моча в песок.

Разнёсся трубный глас, жужжанье многих разом согнанных мух заполнило атмосферу, Андрей поднялся на ноги, вытряхнул из карманов мусор, заправил румпель под резинку, чтоб не выпирал. На берегу, предоставленном всем ветрам, накренившись на древке, жестяная табличка предупреждала об угрозе цунами, без того очевидной. Скелеты псов таяли в прибое.

Ни одной живой души вокруг. Чем бы заняться? «Протоптерус аннектус, — подумал Андрей, — при пересыхании водоёмов закапывается в ил». Андрей желал бы зарыться в песок, но песок этого не желал. Он думал утонуть, но нечто подобное, как подсказывали отблески воспоминаний, с ним уже происходило.

Он гулял по кладбищу, как блуждают взглядом по корешкам на книжных полках. Среди крахмально-белых, рыхловатых на вид надгробий, словно вытесанных из монолитных пластов соли, он читал немецкие, испанские, сербские (особенно много сербских) имена и фамилии. Заблудившись в лабиринте надгробий, он понял, что всё это время невольно искал среди чужих имён на камнях своё собственное, искал с таким же усердием, как когда при жизни осматривал полки с корешками в книжной лавке, куда накануне прямо из типографии должен был поступить его, Андрея, свежеотпечатанный *magnum opus*. Смерть была главным его произведением, и выражение «суд читателя» пришло ему на ум. «Вынести книгу на суд читателя».

Он вынес свою смерть на блюде, как выносят свадебный торт, — с фейерверком, с тимпанами. А вокруг не оказалось никого. Книгочей прохлаждаются в могилах.

— Ну, что молчишь, не мяукаешь по-испански?

Он стоит в самом сердце мёртвого лабиринта, перед широкой надгробной плитой из пробирного камня, посреди которой, сияя матовыми сферическими выпуклостями на коже, распласталась землисто-серая жаба поистине баснословной величины. Распахнув веки, она не столько взглянула на Андрея, сколько позволила ему увидеть свои пунцовые рыбы глаза. Под жирной лапой она хранила, плотно прижимая к камню, крошечный косячок, из которого, как показалось Андрею, уже нельзя было ничего вытянуть; но жаба, весьма проворным движением поместив косяк в свою китовую пасть, выкурила дымную змейку, потом облако и, наконец, настолько крупный перисто-кучевой фронт марихуанового чада, что всё кладбище разом погрузилось в зеленоватую мглу. Лишь вверху, куда устремлялись матёрые перья, виднелось пологое, наклонное в этой части света, как бы притягиваемое Южным Полюсом небо.

А н д р е й . Надо бы тебе сократить потребление травы.

Ж а б а . А тебе — ужаться в смысле алкоголя.

Прошло некоторое время, и кладбище целиком, вместе с надгробием, погрузилось во тьму, а затем так же медленно выплыло на тусклый зеленоватый свет. Андрей не сразу сообразил, что это день сменился ночью, а ночь — днём. С разговором здесь никто не торопился. Облака по отвесному небу уносились к Южному полюсу, как в слив раковины.

Щетинки на стеблях араукарии и ветвях её были невинно растопырены. Они посверкивали острыми гранями, предупреждая о напрасности бегства.

А н д р е й . Меня прислала... Прислало к тебе...

Ж а б а . Я догадываюсь: кое-кто из твоих собутыльников... Но важно не кто тебя послал и куда, а то, что ты послушал и явился, смышлённый Ганс.

Голос жабы казался Андрею знакомым. Поразмыслив во время одной из ночных передышек, которыми обильно чередовался разговор, он назвал это: голос из кладовки. Из пыльной кладовки с деревянной дверцей. Язычок замка отползает, если повернуть пластиковую чёрную рукоятку, и дверца распахивается. Чего только нет в кладовке! Ленты для мух, опасные бритвы, трубочки для марихуаны... Мяукать по-испански он умел прилично, вполне достаточно, чтобы поддерживать разговор с этим существом, обладающим голосом из кладовки, однако... Одно неловкое обстоятельство мешало Андрею, и не столько само по себе, сколько сознанием того, что оно мешает. Утренняя эрекция. Всякий раз, когда кладбище лениво выныривало из ночной тьмы на тусклый утренний свет, живому мертвецу хотелось изменить направление румпеля, так неудобно, до боли, защемлённого под складкой штанины, выправить и зафиксировать его резинкой, однако он боялся, что жаба приметит торопливый жест руки, скользнувшей под резинку, что он не успеет поправить флагшток за то время, пока жаба прикладывается к косячку или совершает своё невероятно медлительное моргание, смыкая и размыкая веки. Разумеется, она была в курсе, что он хочет сделать, а он знал, что она об этом знает, что, в свою очередь, делало жест недопустимым, а терзания — бесконечными. Она улыбалась. Чеширская жаба.

Ж а б а . Как говорится, сменился день — дерьмо всё то же.

А н д р е й . Вообще-то я вкус крови чувствую.

Ж а б а . Губы надо меньше кусать.

А н д р е й . За что же я наказан таким причудливым способом?

Ж а б а . Будь твёрд, Сципион, и отбрось страх! Наказание ещё не начиналось: тебе предстоит суд.

Безмолвие. День сменяется ночью, а ночь — днём. Марихуановый чад, струящийся из ноздрей жабы, окутывает местность. Чешуйки араукарий, лучась на жидком солнце, подмигивают Андрею из тумана. Если бы он захотел убежать, не смог бы. Он и не хотел.

А н д р е й . Если мне предстоит суд, я имею право на защитника.

Ж а б а . И кого же ты намерен призвать в защиту?

А н д р е й . Товарища президента Сальвадора Альенде.

Ж а б а *(хохочет)*. Комедиант! Ты бы ещё Дантона выбрал!

А н д р е й . Шутки прочь, я настаиваю на президенте! *(Пытается кричать.)*
Salvador! Salvador!..

Ж а б а . Знаешь, хоть ты и восстал ото сна, а ведёшь себя так, будто продолжаешь спать. Помнишь свой труп? Ты ещё пытался оживить его щекоткой... Вот это и был твой спаситель.

А н д р е й . Людей не судят за страхи!

Ж а б а . А ты и не человек больше.

А н д р е й . В таком случае я отказываюсь от суда. Я не намереваюсь свидетельствовать в свою пользу и не произнесу на этом процессе ни единого слова в свою защиту.

Ж а б а . О, это достойно тебя, смыслённый Ганс! Живой ты гордился бы тобой-мертвецом, если бы услышал! Мне же, поскольку ты отказываешься от добросовестного участия в судопроизводстве, остаётся лишь отправить тебя туда, откуда пришёл. Так что ступай в магазин, возьми пару бутылок вина, пакет чипсов и возвращайся в свою кубикуну. Выпей всё не спеша, закуси чипсами, прикорни — и мир твоему праху! Это задание тебе по плечу.

А н д р е й . Я не могу туда вернуться.

Ж а б а . Вот так новости! Почему? Неужто надоело убегать?

А н д р е й . Потому что там мыши. Я смертельно боюсь мышей...

Ж а б а . «Смертельно»! Нет там никаких мышей...

А н д р е йи тараканов...

Ж а б а . Ещё и тараканов выдумал. Нет там никаких тараканов! Посмотри на себя, ты даже слово «я» готов поставить в кавычки, лишь бы не пришлось убивать тараканов и выводить мышей!

А н д р е й . Только не надо доказывать мне моё ничтожество! Я знаю его лучше, чем ты.

Ж а б а . Этим-то ты и оправдываешь себя! Вот мы и ступили на твёрдую почву. Ничтожество! Всю жизнь тащиться наперегонки с ничтожеством... Как это хитроумно! Ведь это поистине отделяет тебя от тех, кого ты усердно презирал, втайне, втихую, даже себе самому не признаваясь, что презираешь их, поскольку презрение недостойно твоего романтического ничтожества. А знаешь что... Я, пожалуй, так и буду обращаться к тебе: Ваше Ничтожество. Не изволите сушёного батата, Ваше Ничтожество? Ты не можешь даже испытывать ярость, тебе неизвестен гнев, негодование — только брезгливое раздражение, сугубо физическое, продиктованное желудком, количеством алкоголя или крепостью кофе, ничем иным. Но и в этом ты надеялся превзойти меру ничтожества и свою беспомощную злобу никогда не выказывал — ты боишься своей злости не меньше, чем людей. Ты даже не оспариваешь мои слова и полагаешь, что всё это — счастливый повод довести ничтожество до кульминации, доказав небесам, что тебя и в этом не превзойти! А впрочем... Пару слов в твою защиту даже я могу отыскать. Иногда страх, возобладавший над существом вроде тебя, толкает на поступки, совершить которые человек, начисто лишённый страха, не отважился бы никогда.

А н д р е й . Что, богу в чайник, здесь происходит??!

Ж а б а . Повторение.

Глава II

Гимназический учитель Передонов тащит кота в парикмахерскую. Кот упирается, кричит, но учитель не отступит. Дотащит.

Христос на старинной картине вызволяет грешников из передрыги в аду. Какое прелестное зрелище!.. На другой картине ангел тетёшкает младенца-искупителя грушей.

Вереницы зрителей продвигаются от картины к картине. Группа итальянцев рукоплещет сумрачному Франчабиджо: «Bellissimo!» Уже через минуту восторгов как не бывало. Галерея безлюдна. Город безлюден. Земля опустела, и некому ощупать безвидный, бесформенный мрак.

На мгновение (будто захлопывая за собой дверь) во мраке проступает красный тюрбан ван Эйка, державный, как звёздное скопление. Тает без следа.

А что насчёт Андрея? Стало быть, он — в городе мёртвых?

В принципе да. Но теперь не об этом.

В данной точке повествования он — в стране мелодрам, кайпирины, маисовых плантаций, необузданного Макунаимы, в стране без рабов и мертвецов, по земле которой бродят прозрачные чудовища — заботливые, с исполинскими гениталиями, с кровью в жирных глазах, — и разорви меня солнце, если это не правда.

В этой стране даже зло обесцвечивается и выгорает от солнца. Дьявола здесь накормят фейжуадой, угостят кашасой и бросят под виадуком. Никто о нём и не вспомнит. Свобода быть внезапно похищенным, вернуться в небытие — как и свобода прикасаться, ласкать и облизывать, — эта свобода напоминала Андрею похмелье и равно изнуряла.

Бразилия была как огромный призрак — не ангел, а джинн, с аппетитом глотающий аборигенов, гринго, молдавских евреев, бруклинских поэтов, даже крохотного бессловесного северянина — живого мертвеца. И никакого мерцания. Ровный посторонний свет.

Сквозь обрывки сна он слышал своё имя. Чувствовал себя отвратительно. Точнее, отвратительно трезвым. В желудке клокотало, словно тот куда-нибудь торопился. Собирался в самостоятельное путешествие. Выезжал из организма со скандалом. Приодевшись в клочья облаков, Луна скрылась за ставнями. Но самое ужасное было не это.

Самое ужасное было то, что он увидел перед собой.

Когда он открыл глаза, он увидел перед собой лицо, и отнюдь не Селены. Над ним располагалось его собственное лицо. И оно смотрело ему в глаза с такого близкого расстояния, что почти никакого расстояния, собственно говоря, не было.

Захлопнул обратно глаза, стал лихорадочно вертеть обломки вчерашнего дня. Что было вчера? Несомненно, напился. Наложился доверху. Прислушался к шёпоту облаков — и надрызгался в хламину. Сначала, как всегда, посидел с Алисоном. Угостился за счёт модерниста. Затем, прихватив бутылку, вернулся на «башню» и заправлялся в одиночестве. «Одиночество, прекраснейшее из торжеств». А дальше? Неужели так нахлестался, что раскололся надвое, как Вильям Вильсон? Судя по тошноте, напился до чертей.

Точнее, до котов.

В довершение всего, перед закрытыми глазами неслась карусель из пёстрых котов — уличных граффити, замеченных в разных уголках Сан-Паулу. Пёстрые коты граффитистов были огромны, как коровы, и довольны, как будды. Граффитисты Сан-Паулу возвели рисование пёстрых котов в разряд верховного искусства. Видеть и дальше котов, не открывать никогда больше глаз, умереть от похмелья с закрытыми глазами, лишь бы не встречаться взглядом с самим собой! Что-то надо делать со всем этим...

И ладно бы только лицо. Тяжесть была такая, будто на него навалилось целое тело. Будто на нём, усугубляя тошноту, лежало его собственное тело. «Меня сейчас вытошнит», — подумал Андрей, а на самом деле прошептал, решив, что лишь подумал это. «Не может быть. Не может быть, — шевелилось на поверхности кожи, вибрировало на границе сна. — Отяжелевшая, омертвевшая дрянь!»

Интересно, — думал Андрей, провожая очередную вереницу котов внутренним взором, — как мог бы начинаться рассказ? «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Андрей Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился, о нет, не в страшное насекомое, — он превратился... в самого себя». Правда, это не Кафка. Пожалуй, сцену мог бы живописать автор «Моби Дика», если бы оказался менее осмотрителен в той главе, где Измаил и Квикег, очутившись в одной постели, сочетаются мистическим браком, скреплённым и засвидетельствованным при помощи и в присутствии китобойного гарпуна... А что случится, если эдаким гарпуном запулить в довольного своей нарисованной жизнью пёстрога кота?

Таким образом, проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Андрей обнаружил, что он у себя в постели превратился, о нет, не в страшное насекомое, — он превратился в провального (т. е. с провалами в памяти) алконавта. Встал, запустил палец в рот, оторвал иссохшую щёку от зубов. Заправил вундерхорн под резинку, чтоб не торчал. За окном визг: у попугаев бракосочетание.

Наконец, понял в чём дело. Вчера вечером он был в таком землетрясенческом состоянии, что не сумел заготовить себе спасительный кувшин на утро — целебный напиток, в состав которого входит кашаса, сок лайма, сахар и лёд. Припёрся на кухню, озираясь: тараканов не видно. Распахнул холодильник. Помидор черри, как рыба, качается в пластиковом пузырьке. Все лоскуты, все щели жилого пространства напоены солнцем. Тошнотворный аромат папайи. Невыносимый свет.

Ломоть жареного яйца не лез в горло. Через четверть часа, промучившись и простонав над завтраком, Андрей обрёл убежище там, откуда вышел: под одеялом. Яичница, как Луна у Мельеса, осталась с выколотым глазом.

Ж а б а . Сеньор Дон Кихот не завтракал, ибо питался одними сладостными воспоминаниями! А всё-таки любопытно услышать, какая надобность занесла в Бразилию такого пододеяльного искателя приключений, как ты? Куда и зачем ты, вообще говоря, постоянно рвал когти? Из-под одеяла — на кухню, с кухни — на улицу, с улицы — на другой материк и там снова под одеяло... Как ужаленная обезьяна! Страшно подумать, какой углеродный след от тебя остался. А главное: по существу, ты всё время топтался на месте.

А н д р е й . Но досюда же как-то добежал.

Ж а б а . А от смерти всё-таки не убежал.

А н д р е й . Конечно, я ведь бежал не от неё. Твоя ошибка в том, что ты рассматриваешь побег исключительно в свете той точки, из которой он совершается. На самом деле бегство не имеет начала, как не имеет оно и конца...

Ж а б а (*задумчиво*). Не имеет, стало быть, конца.

А н д р е й . Ты разбиралась бы в этом получше, если бы читала хорошую прозу. Но ты не любишь читать, у тебя странички слипаются с перепонками между когтей, мокнут и рвутся. А ведь ещё Стерн говорил, что путешествие бесцельно...

Ж а б а . Ах, Стерн во всём виноват! Ну, теперь-то вашей со Стерном колготне пришёл конец, — это я знаю наверняка. Да и что толку от бесцельных путешествий, если, удрав за край земли, ты не бросаешь земную привычку юлить, аккуратничать и боишься признать, что удирал отнюдь не из тяги к перемене мест, а по единственной и ясной причине, а именно: подстёгиваемый презрением, брезгливой надменностью и обидой... Да что с тобой такое, поплохело с непривычки? Нюхательную соль подать?

А н д р е й . Мир у тебя получается чёрно-белый...

Ж а б а . Мы с тобой, обормот, на том свете, — каким же ещё он должен получаться?! Ты, конечно, считаешь свою обиду слишком благородной и рафинированной, чтобы говорить о ней. Но ведь ты не сделал ничего, твоя так называемая душа не притронулась к мастерку, ни одного сантиметра обиды не принадлежит твоей возвышенной натуре, ибо эта обида — только отражение обиды твоих бывших соотечественников. О, ты такой же виртуоз обид, как и те, кого счастлив презирать! Вы с ними достойны друг друга. Обиды для вас — что хлеб с маслом. Те обижены на всю Европу и обе Америки, на Австралию с Океанией, на Японию, Антарктику, Гиперборею, Лемурию, Эльдorado, Кокань, Атлантиду, на звёздное небо и земные недра, на всё и вся, до чего сумели дотянуться, пыхтя, их сквалыжные умы, — но твой ум никак не сквалыжный, о нет, ты кое-чего стоишь, ты ведь когда-то разбирал по складам хорошую прозу Стерна, да и сам что-то такое пописывал, поэтому ты не нашёл ничего лучше, чем обидеться на обиженных и с романтическим видом навалить на себя то же мессианское барахло. Дескать, раз уж это полчище вонючек присвоило себе какую-то там миссию, чем я хуже — буду щеголять, выгуливать на поводке свою упорную, непримиримую обиду. «Паршивый народ!» — разве не так ты думал? «Паршивый, презренный народ, заслуживающий самой плачевной судьбы».

А н д р е й . Не стану обобщать...

Ж а б а . Разумеется, ты не станешь! Но это не имеет значения. Ты не станешь обобщать, не станешь уточнять, не станешь высказываться ни в том, ни в другом смысле. Ты будешь молчать, как треска, и мнить себя рыцарем Великого Отказа, исихастом без страха и упрёка, а на самом деле ты просто трус, вернее — раз уж мы говорим начистоту и одновременно добиваемся точности в выражениях — ссыкун. Истерзанный приапизмом ссыкун. Посему имеет значение не то, что ты сказал (ты ровным счётом ничего не говоришь), а то, что подумал. А подумал ты следующее: «Паршивый народец, заслуживающий самой плачевной судьбы»... И вот ты наконец удрал, ты — в Бразилии! Мои поздравления и тысяча букетов! Не будет больше пивных животов, криворожих садистов, леопардовых блузок, блатных засранцев, бородатых модников и прочих метастаз национального ничтожества! Будут только пальмы, кокосовое молоко, обезьянки величиной с кошку, пауки величиной с собаку, знойные хлопцы на Авенида Паулиста, карнавальная круговерть и океан кашасы! Но вот что странно. Ты так и не перестал таскаться со своей обидой, как святая Варвара с башней, нагородил три короба стернов и даже под одеялом себе не признавался, что пустился в разъезды лишь от невыносимого омерзения, от малодушной брезгливости, которую надо было заглушить, перебить, как похмелье, любыми средствами. И, заметь, я ведь несколько не виню тебя за эту надменность, более того, моя собственная надменность простирается дальше, чем Кордильеры... Но чу! Слышу, как у тебя в желудке клокочет серная кислота. Не хочешь ли ты мне что-нибудь сказать?

А н д р е й . При жизни я мечтал взять в руки винтовку и отправиться...

Ж а б а . На фронт?! Сомневаюсь, что ты мог пригодиться. Ты даже себе в ногу не попал бы.

Следует продолжительная пауза, во время которой происходит несколько смен дня и ночи, несколько затяжек, несколько увесистых оплеух.

* * *

С год тому назад сын старого модерниста *вернул билет*. С тех пор Алисон не просыхал. Обществу друзей он предпочитал плазменный экран в дешёвом греческом ресторанчике, где крутили футбол.

Каждое движение Алисона было исполнено какой-то невероятности. В полдень, явившись в греческий ресторанчик, он подзывал официанта таким фундаментальным мановением, точно дирижировал стадом кентавров. Рука лениво рисовала окружность, медленно шла по дуге, как у опытного пловца, отсекала диагональ. Там, куда он плыл, берегов не просматривалось.

Во многих странах мира у Алисона оставались товарищи по модернистскому движению, соратники по переписке. Кто-то из них сосватал Алисону этого бледного, как труп, маленького писателя с остекленевшими от испуга глазами. Мол, никого у него там нет, — покажи ему дешёвые бары.

Пучеглазый одутловатый старик в отутюженной сорочке цвета морской волны и тренировочных штанах первым делом угостил Андрея коктейлем. Они выпили застенчиво, каждый робея, что опохмелается, — а потом догадались оба, в чём дело, и тогда рюмочки забарабанили по столу.

В конце шестидесятых годов (а может, в семидесятые, — Андрей не запомнил) Алисон был среди тех, кто разбирал и рассматривал по винтикам, из чего сделан всеобщий миропорядок, дабы застрять у последнего костью в горле. Сборники своей авангардной прозы и такого же сорта стихов, непереводимых ни на какие языки, включая язык, на котором они написаны (впрочем, недавно изданных в переводе, разумеется, на английский), старик преподнёс Андрею, оставив вместо автографа жирное соусное пятно.

В этой стране, в этом городе Андрей полюбил. Виной тому старый модернист. Но об этом позже.

Как полчище разорителей, гроза обрушивается на Сан-Паулу и прежде, чем наступят сумерки, уносится прочь. Солнце садится в аэропорту. Тяжело дыша, из помоечной реки выбирается лохматое чудовище в коричневых мехах, встаёт на задние лапы и облизывает пальцы, потом их же грызёт. Скоро в южном полушарии зима, ночи станут холодными. «Что же мне делать? — паясничал Андрей, мечтательно заглядывая в зеркало. — Терять нечего! Займу у Алисона на билет в Канаду, высажу залпом бутылку “Канадского тумана” и удалюсь по медвежьей тропе. И ни клочка по себе не оставлю, ни волоска, ни подсказки! Пусть ищут, рвут волосы, сбиваются с ног. Это им за Каспара Хаузера!» Так он паясничал, пока не встретил Габриэля.

Чудовище из реки — выдра речная. Страдает ожирением.

Сотрясая небо, над Сан-Паулу роятся вертолёты. Просторы южных морей испещрены атоллами. Где-то там, очень далеко, листья тропических деревьев твёрдые, как хитиновые надкрылья, а земля под деревьями кишит сколопендрами и кивсяками. 70 лет назад на атоллах проводились ядерные испытания. «Какое самозабвенное варварство», — Андрей свесился с кровати и опустошил первый — лучший из всех — стакан.

По вечерам оглушительным эхом в лабиринте высоток разносятся крики птиц.

Дело было вот в чём. В первый день он никак не мог заставить себя выбраться из дома, спустился только однажды — раскланялся с консьержем, убедившись, что тот не понимает по-английски, купил макароны и спрей от тараканов (хотя не встретил пока ни одного) и вернулся, засел на верхнем этаже старого кондоминиума с козырьками над окнами и латунными рамами в стиле ар-деко. Спрятался в своём донжоне и думал, что как только спустится, выйдет на улицу, покинув территорию кондоминиума, защищённую двойной металлической решёткой и арсеналом видеокамер, и пойдёт по улице так же свободно и спокойно, как мог бы гулять по улице, скажем, в Цюрихе, с ним непременно что-нибудь стрясётся. И отвращала его больше всего не беда, а мистическая неизбежность беды, которую он должен навлечь самим ритуалом выхода из дома, спусканием на лифте,

обменом приветствиями с консьержем, не понимающим по-английски, открыванием и закрыванием двойных дверей-решёток, ведущих на одну из мирных зелёных улиц Гигиенополиса — самого благополучного района Сан-Паулу.

Он не боялся, что будет похищен и переправлен морем в какую-нибудь африканскую страну, где до сих пор процветает рабовладение. Не боялся, что украдут его единственный паспорт, по которому приехал в Бразилию (он и сам был не прочь избавиться от этого волчьего билета). Не боялся, что отнимут последние средства, ведь это означало бы голодную смерть, несущую избавление от собственного ничтожества. Не боялся забрести по неразумию в фавелу и погибнуть от случайной перестрелки: пуля дурного слова не скажет. Не боялся, что его собьёт машина, потому что не испытывал страха ни перед каким телесным недугом: ведь недуг для больного становится чем-то вроде религии, истовой веры, а значит — спасением. А боялся он перестать быть собой, вот чего. Перестать быть тем, кто сидит на двенадцатом этаже, совсем один, в полной (если не считать вероятного прихода тараканов) безопасности. Боялся перестать быть тем, кто так надёжно, так щедро и крепко боится в конце концов не чего-то определённого, а всего на свете разом, не разбирая угрозы по сортам, — и смотрит на всё с немой высоты.

Он схватил стакан и сделал несколько глотков. Падая, холодная жидкость гладила внутренности. Высунулся в окно донжона. Мускулистый парень в ветхих, дырявых трусах шёл по улице, делая какие-то выпады в сторону прохожих. Андрей изо всех сил пригляделся: загорелый гобой рвался из рубища на волю. Вещи совсем новые пугали Андрея гораздо меньше, чем вошедшие в привычку, повторяющиеся изо дня в день, становящиеся ритуалом (ужас банальности, неизбежности собственного его, Андрея, убожества заключался в этом повторении), поэтому он и пустился в путешествие. Он жаждал нового и всего, что новее нового, и новое было как первый глоток коктейля утром, а то, что новее нового, — как донышко первой за день бутылки.

Страх не отставал, когда Андрей погружался в сочинительство. Но он страшился править черновики; сделав набросок, он привязывался к неуклюжим метафорам, избыточным эпитетам, театрализованным умозаключениям, чопорному синтаксису, обожал произведение в том ущербном виде, в каком оно сотворено, и, если только принимался редактировать, испытывал утрату.

Теперь же, когда с помощью кашасы, употребляемой поутру в прохладительном коктейле, а после уже в чистом виде, найден изумительный способ разделаться с ужасом перед выходом на улицу, было введено нижеследующее усовершенствование.

Здороваться Андрей терпеть не мог, готов был провалиться сквозь землю, но и пройти мимо консьержа не поздоровавшись не был способен — не хотел прослыть невежливым, чтобы самому же не терзаться. Кроме того, устрашающе глупым казалось ему предстать перед консьержем навеселе, иностранцем с заплетающимся языком и неверной походкой (даже трезвый гринго — смешон). По этим причинам, прежде чем спуститься вниз, Андрей отодвигал латунную оконную створку в стиле ар-деко, свешивался из окна и высматривал консьержа в саду — не вышел ли тот поливать кусты, не занят ли болтовнёй через решётку с консьержем соседнего кондоминиума, не отправился ли кормить кошек, толковать с курьерами, которые подъезжали на мотороллерах к специальному квадратному иллюминатору для передачи товаров квартирантам, да и мало ли зачем ещё консьерж мог бы уйти с поста. Иногда, если консьержа в саду не наблюдалось, Андрея посещали мысли. Например, он мог бы запустить со своей высоты пакет, наполненный водой: несясь вниз, пакет разовьёт достаточную скорость и солидно шлёпнется, а пока консьерж будет проводить в саду, среди раскидистых ветвей, расследование шлепка, Андрей вышмыгнет из дома незамеченным. Затем он подумал, что мог бы организовать более надёжный отвлекающий манёвр и выброситься из окна сам, шмякнувшись об землю в саду, и устранить таким образом консьержа с поста надолго, может быть, на несколько часов, а заодно раз и навсегда решить проблему приветствий при выходе из дома, — но это решение, как и

затею с пакетом, он всякий раз, немного размыслив, откладывал на завтра. А пока что просто высовывался в окно и, дождавшись, когда консьерж окажется в саду, хватал рюкзак и проскальзывал на улицу, пьяный и торжествующий.

Ж а б а . Что в рюкзаке?
А н д р е й . Яйцо Колумба.

— What a miserable world we live in! — властно провозглашал Алисон, разбрасывая с вилки кусочки чёрных бобов. Хотя ничто его давно не изумляло, глаза будто готовы выскочить из орбит.

Старый модернист рассержен на весь мир — и невероятно щедр. Лицемерные попытки Андрея хоть раз заплатить за выпитое и съеденное, протянув банковскую карту (на счету ни сентаво) или комок наличных (в комке больше мусора, чем денег), неуклонно пресекались Алисоном с характерной грубоватой сердечностью: «You pay next time!» Когда наступал next time, история повторялась: Андрей вопросительно извлекал на свет банковскую карту, привязанную к несуществующему счёту, или взмахивал комочком мусора, символизирующим деньги, а старик соглашался быть угощённым как-нибудь в другой раз, next time.

— Oh, that imbecility of America! — взгромоздившись на боевого слона, старик открывает риторический огонь по излюбленной мишени. Ни одна попойка с Алисоном не обходится без словесной расправы над Соединёнными Штатами! Изничтожив эту «empire of hamburgers», старый модернист не проливает ни капли щадящего света на загнивающую Аргентину и нациствующих политиков в Бразилии, на имперские амбиции Кремля и грядущее общество цифровой диктатуры. Растерзав жирных демонов, всё больше пьянея, он предаёт анафеме малахольных леваков и цензуру политкорректности, изнеженных бюрократов Европы и варварский геноцид в Синьцзяне, климатических скептиков и религиозных фундаменталистов, культуру отмены и «новую этику», загребушие транснациональные корпорации и разгул цифрового маркетинга, оставив на сладкое своих бывших союзников — некогда модернистов, воздвигавших вместе с Алисоном возвышенную утопию нового искусства, а потом дезертировавших перед лицом культурной индустрии в лице кураторов, продюсеров, редакторов и прочих микроцефалов...

— Anyway, this all is so boring... not interesting... Let's better talk about your book! Is it a novel or a collection?

«Новелла или коллекция, чёрт меня возьми, что же я пишу и какое отношение ко всему этому имею», — вертя в руке комок, в котором последние 100 реалов окончательно перемешались с обрывками салфеток, Андрей, кажется, мог расслышать, как потовые железы на его ладонях принимаются с усердием за работу. Сейчас зажурчит водопад лживых отговорок...

Но, сам не зная почему, он вдруг увидел Владислава Старевича. Согнувшись в три погибели, польский господин манипулировал кузнечиком. Колени насекомой куклы повернуты вперёд, как у человека, а плёнка стрекотала в аппарате.

— Tá bom, — приговаривает Алисон. Никаких претензий. Каждый при своём.

Ж а б а . Один мой приятель, фамилия его Сведенборг, рассказывал, что на его родине есть могильный камень с рунической надписью, нечто вроде: «Здесь лежит имярек — такой умный, что заказал эту надпись сам». Ты ведь тоже умён, у тебя найдутся пожелания насчёт надписи?

А н д р е й . Камень должен быть пустым, без единой буквы.

Ж а б а . Любопытно, до какой степени ты верен своей скупердяйской осмотрительности. Ах да: ты ведь писатель, автор четвертушки листа для рубрики «Жанровое определение затруднительно». Все вы, писатели, ненавидите слова! Мечтаете высказаться, ничего не высказывая. Молчание, изгнание и хитроумие! Соорудить крепость из великолепных фраз и спрятаться неузнанным, а потом получить за это элитарную литературную премию, желательно с денежным содержанием, и чтобы критиков сокрушила многозначность писанины, а читателей — изысканность стиля, лишь бы не оставлять зацепок, лишь бы никто не докопался до подкорки. А стоит ненароком задать писателю уточняющий вопрос, он выхватывает из-за пазухи томик какого-нибудь Джойса...

А н д р е й . Лучше взять Кафку...

Ж а б аи так возбуждается, с таким остервенением машет и крутит во всех направлениях этим кирпичом, ломая всё подряд, что ни одно дышащее тело поблизости не уцелеет, все разбегутся, не помышляя впредь ни о каких уточняющих вопросах. А он, победив любые намёки на определённую, замкнётся в своей крепости и не высунется оттуда, пока не закончит следующий непроницаемый шедевр.

А н д р е й . По-моему, истина, если мы не говорим о религии, подвизается там, где нет надобности в словах, точнее, их просто не существует.

Ж а б а . Детский лепет! Рассмотрим один случай. 2005 год, столица твоей бывшей родины. Всё вокруг красно-белое, весь Ленинский проспект, включая мобильные туалеты, красно-белый. Ты ведь участвовал в этих шествиях под красным знаменем с белым крестом, означающим неизвестно что? Что-то типа «перечеркнём нашим чистеньким белым крестиком это неприглядное красное месиво».

А н д р е й . Компоновка напоминает шотландский флаг.

Ж а б а . Надо же, как просто.

А н д р е й . Послушай, я ведь был ребёнком!

Ж а б а . Очень мило, но ты хотя бы поинтересовался, что символизирует это красно-белое недоразумение?

А н д р е й . Разумеется, поинтересовался. Они не имели ни малейшего понятия о символике. Никто из них не мог ничего объяснить. Они чуть не рвали на груди рубахи, грызли асфальт: «Вперёд! Победа!» — но о чём, куда, почему знамёна красные и белые одновременно, зачем всё это — без понятия. Я испоганил им настроение. Они шли по Ленинскому проспекту с набрякшими физиономиями, поигрывали желваками, вцепившись в свои шизофренические знамёна. И всё из-за моей любознательности! Весь отряд наказан! Никакого макдоналдса и зоопарка! Только что нам обещали, что каждый станет комиссаром, и золотой ливень прольётся, нас позовут пить шампанское с белужьей икрой в компании не абы кого, а самого...

Ж а б а . Господь милосердный!

А н д р е й . Но дело-то было совсем не в этом...

Ж а б а . Сомкнём ряды! Пусть будет выше знамя!..

А н д р е й . Ну вот, опять ты раздуваешься. Я просто был школьник и бегал, допустим, за одной одноклассницей...

Ж а б а . Карбонат аммония! Фамилия одноклассницы случайно не Шароглянцева?

А н д р е й . Да откуда ты знаешь?

Ж а б а . Муха летала, она видела.

А н д р е й . Что же мне рассказывать, раз вы с мухой такие осведомлённые...

Ж а б а . А ты не рассказывай, передохни. Шароглянец был белым, словно его извальяли в муке, не правда ли? Альбинос. Подсаживался к тебе на английском, когда класс делился на три небольшие группы, — припоминаешь? — это создавало редкостную атмосферу. После английского он ловил тебя в охапку, душил в объятиях и сразу убежал, но ты не придавал этим обниманиям с убеганиями никакого значения. На школьных праздниках он старался сесть поближе и впивался своей коленкой в твоё бедро, но ты

думал, что неправильно его трактуешь, что он не мог иметь в виду то, что тебе хотелось, чтобы он имел в виду. Когда же он позвал составить ему компанию на танцах, ты решил, что это какая-нибудь уловка, западня, что альбинос задумал растерзать тебя на куски — хотя, будем откровенны, именно этого тебе и хотелось — и сказался глухим в расчёте, что Шароглянец повторит своё приглашение, но Шароглянец — какая досада! — больше не повторял приглашения, он ведь и сам растерялся, а ты всё равно таскался за ним, куда бы тот ни отправился, и обмирал от ужаса, чуть только он пускал в ход свою остренькую коленку.

А н д р е й . Всё-таки для меня он был слишком женственным...

Ж а б а . Опять чепухистика. *Для тебя* он был ещё недостаточно женственным! Лучше бы ему быть настолько женственным, чтобы без специальных указаний его принимали за девочку. Да чего там мудрить — попросту взять девочку, шепнуть тебе на ухо: «Гляди, какой мальчик!» — и ты уже валяешься без чувств, весь перемазанный секретией. И ничего-то не переменилось с тех пор, верно? Молчание равносильно признанию!

Отчаянная пауза.

Ж а б а . Ах вот ещё что: сколопендра.

А н д р е й . Что — сколопендра?

Ж а б а . Помнишь, вы с Габриэлем беседовали о сколопендрах?

А н д р е й . Никак нет.

Ж а б а . Ну как же! Судьбоносная беседа. Ты не нашёл ничего лучше, чем заявить, что больше всего на свете боишься сколопендру. И достал смартфон, чтобы показать картинки, щегольнуть обликом химеры... точнее, взыскательностью страха. Ты ведь гордился (втайне от себя) своей subtilностью! Расфуфыренный кисель. Как же ты возликовал, услышав, что твой Габриэль одарён одинаковой с тобой фобией, что ему приходится звать на помощь всех до единого родственников, чтобы обезвредить тараканчика, бредущего по подушке или барахтающегося в тарелке, что он испытывает те же назойливые дурацкие затруднения, что и ты, а не катается по жизни резво, как масляная капля по сковородке! Кажется, с этого всё и началось, не правда ли? Где страх, там и убежище души? Габриэль, Габриэла... Всё у тебя крутится вокруг него... или неё?

А н д р е й . Не говори о нём в женском роде, пожалуйста.

Ж а б а . И почему же ты убежал от этого трепетного создания? Испугался полупрозрачной фиолетовой юбки? Или волосатых ног, которые под ней виднелись?

А н д р е й . Он никогда не устраивал меня. Ни как мужчина, ни как женщина, ни как небинарная личность.

Ж а б а . Лжец. Ты, кажется, любопытствовал, что ты теперь за фрукт; так вот же твоё имя: Лжец. Впрочем, полюбить можно и того, кто, по твоему выражению, «никогда не устраивал». В том ли дело, кто кого устраивает, а кто нет? Ты, например, мне никогда не нравился. Сейчас ты мне прямо-таки омерзителен. И, более того, с моей точки зрения, ты не заслуживаешь ни малейшего снисхождения. Однако, вопреки сказанному, моя привязанность к тебе возрастает с каждым произнесённым тобой словом, с каждой твоей скользкой ужимкой. Так объясни, какого рожна угодно тебе было портить желудок со старым пьяницей, когда ты мог всё это время проводить с Габриэлой? Или с Габриэлем, не всё ли равно.

А н д р е й . Алисон нас познакомил, я был обязан ему.

Ж а б а . Сходи теперь, поблагодари своего Алисона. Он, между прочим, так и сидит в кабаке. Уставился в футбол. Рафинья сейчас оформит дубль.

И действительно: футбольный комментатор трещал над головой северянина, а бразилец, переводя взгляд с северянина на футбольное поле и наоборот, поинтересовался у молодого собутыльника, знаком ли тот с Габриэлем — аспирантом университета Сан-Паулу, между прочим, весьма корректно изъясняющимся по-русски, — и, услышав, что не знаком, незамедлительно вынул из оттопыренного, набитого всякой всячиной нагрудного кармана рубахи смартфон. И вот уже аспирант, наделённый редкой способностью к северному языку, через посредство старого модерниста обещает завтра в десять утра ждать Андрея на Паулиста, возле легендарного книжного магазина «Ливрария Культура».

Уже при звуке имени Андрей почувал неладное. Мозг закоробился, как устрица от лимона. Да. Который час? Сейчас с беспрецедентной скоростью всё понесётся к чёрту.

Не стоило ему соваться в Южное полушарие. Не стоило вылезать из квартиры, надираться с Алисоном, менять сбережения на реалы...

Сигнал бедствия резонировал в имени. Скоро он будет скулить в пустоту. В поролон.

Как жаль, что он не был настолько пьян, чтобы забыть о встрече! Бесплезное сожаление. Его имя рассечёт забытьё буквой «э».

Куда именно рухнет комета? Какого размера фрагменты разлетятся по сторонам? Со злорадным любопытством Андрей взглянул на кисти рук. Пальцы красные. Неожиданно он почувствовал себя так, будто овладел ключом ко всем замкам — кроме замка от ящичка, куда этот ключ упрятан.

С первых страниц Книги Бытия он медленно карабкался в гору. А теперь, достигнув пика, помчится под откос, наблюдая в мелькании пальмовых веток за низвержением вещей.

Ликуя, он смаковал остаток времени. Это финиш! Ему карачун. Он убедится в этом, рассмотрев густую шевелюру, смуглую шею, щедро и тонко распахнутые крылья носа. Прочтя растительный орнамент на ногах сквозь юбку.

А пока, стоя в ожидании у магазина, рассматривал первые полосы газет. Ему стало скучно и холодно. В сумрачной синеве газетного просцениума бразильское «первое лицо» вальсировало с российским.

Манипулятор с фаянсовыми глазками и мёртвым лабрадором на привязи, с водянистыми пальчиками-опарышами, вечно вцепившимися в кромку стола! «Давно, хуйская морда, не виделась», — процедил Андрей.

Высокий тучный бразилец в чёрных туфлях прокатил мимо Андрея волну парфюмерии. Под ударами массивного каблука опарышевые пальчики, вцепившиеся в стол, хрястнули и завизжали, как демоны низшей касты.

Габриэля всё не было. Тучный прохожий удалился, треща семивёрстными каблуками. Мальчик лет двенадцати, заметив в толпе гринго, перерезал Андрею путь. Прогуливаясь взад-вперёд, Андрей улыбнулся вымогателю.

В атмосфере, бредившей Габриэлем, тянулась счастливая пауза. И вдруг Андрея осенило. На стене, рядом с граффити, изображавшим агрессивный гамбургер с выпученными глазами, кубиками соли и голубыми наплывами сыра, Андрею захотелось написать курсивом: *предопределение*. Сколько ни раздирай себе грудь, всё неизбежно! И чем невероятнее, тем неизбежней.

* * *

Габриэль предложил отправиться в Ибирапуэра. Андрей согласился, не разбираясь, куда идёт.

Стебли бамбука в парке Ибирапуэра перестукивались и трещали, как старая фазенда. Под мостом в мелком ручье ползали сомы-прилипалы, карпы пробирались,

ложась на бок, между камней, выступающих над низкой водой. Тощая чёрная кошка с обкромсанным ухом сторожила мост. Они блуждали по парку, неторопливо обмениваясь откровенными вопросами, как будто измышляли совместное путешествие. Андрей сам не знал, чего ему больше хотелось, — уснуть? разлететься на куски?

Истинность происходящего пронзала его, стоило взглянуть на аспидно-чёрные, прорезанные сухой иглой волоски на тыльных сторонах рук, на запястьях. В первый раз, взглянув случайно, он не поверил этому, пролежавшему вдоль туловища, как гигантская ледяная спица, ощущению и, намеренно задержавшись, повторил взгляд. Да.

Вдруг он заметил крохотную жабу на рыжей бестравной почве у аллеи. «День бледнеет понемногу, вышла жаба на дорогу». Ни катастрофой, ни внезапно свалившимся счастьем Андрей не хотел считать то, что с ним происходило. Во всяком случае до тех пор, пока происходящее затрагивало Габриэля. В обречённости, думал он, есть поразительное спокойствие; а о большем и не мечтал.

Зрители в обличии взъерошенных деревьев окружали пруд, готовые к тяжёлому спектаклю. Вода в пруду была совершенно металлического цвета, белая цапля господствовала над поверхностью. Чёрная шевелюра Габриэля переливалась, словно виниловая. Вкрадчивая музыка, чуждая этому пейзажу, вертелась у Андрея в голове.

Он был должником этой музыки, не оставившей вокруг ни одного случайного, ни одного выхваченного мимолётом предмета, ибо под каждый её виток (томительно долгий, будто изумляется кит) можно было видеть не более одной вещи: крупным планом. Мост, через который они переходят. Белая цапля, приметившая их переходящими мост. Навьюченные тяжким предчувствием свидетели — деревья. Крошечная улыбка жабы, притаившейся на земле. Низко, как туба, за пределами парка вздохнул автобус. И здесь же, неподалёку, сцепились воспоминания различной давности — от нынешнего утра, когда отражение растопыренной щётки для волос проползло по смесителю, подобно многоножке, до инсценировок с участием отца и других усопших. Все позиции партитуры знали друг друга, и каждая рассказывала об остальных с едкой ухмылкой. Горбатые морщинистые тени, призраки бесформенности, изгонялись отсюда этой странной музыкой и беспомощно ждали своего часа.

(В музыке присутствовала мысль — одна-единственная, которая всё определяла. Но что за мысль?.. Андрей застревал, как обычно, в шаге перед ответом. Хихикали сумерки.)

Вечером Габриэль привёл его к родителям. Они расцепили руки, прежде чем войти, сердечная мышца кипела в горле.

В старом доме, засыпанном бумагами и книгами, принимали гостей, и крики на русском с тягучим носовым акцентом хлестали в тёмный двор из распахнутых окон. Ветер гулял по комнатам, трепля многочисленные уголки листков, ключья рисунков, черновиков, высывавшихся отовсюду, они трепетали, создавая непрерывный бумажный гомон.

На столе были жареные каштаны, батат и фасоль с рисом, и куриные крокеты. Огромные приторные пирожные с доси-де-лейчи — на сладкое.

Облака дыма плавали под потолком, скапливались под розовыми домодельными балдахинами, принимая очертания кириллических букв. Никогда прежде и ни в какой стране Андрей не видал такого количества людей, повёрнутых на иной культуре, всё это были друзья родителей и Габриэля, или Габриэлы, как все они часто говорили, чередуя мужскую форму с женской, не придавая вовсе значения выбору грамматического рода, местоимения, формы имени, что несомненно казалось тому, о ком шла речь, не только допустимым, но и желательным. Имена Достоевского, Пушкина, Сологуба, Сорокина, Хармса, Цветаевой, Бахтина (последний в стране карнавалов заработал особенно прочное реноме) то и дело звучали в местной щедрой огласовке, и тогда немедленно среди присутствующих откликалась та или тот, кому доводилось переводить, посвятить работу, защитить диссертацию...

Габриэль почти не разговаривал с Андреем, но, наматывая учтивые круги между гостями, ни разу не прошёл мимо — дотрагивался до запястья, передавал коктейль, знакомил с очередным специалистом по Гоголю и весь вечер, даже занимаясь другими гостями, оставался близко.

К полуночи Андрей уже был так пьян, что не понял решительно ничего из предвестий хозяйки дома, матери Габриэля — гадательницы, ловко раскидавшей Таро на столике под абажуром. Она толковала, куда ему лучше отправиться, в каком полушарии скоротать эту иссиня-чёрную, до костей обугленную сказку, где схоронить своё взбаламученное существо до лучших времён, — но на следующий день Андрей помнил лишь ту свою утрированную внимательность, свойственную невротичным, требовательным к себе алкоголикам, и кивки, и устремлённые на сивиллу широко раскрытые, как ему казалось, глаза (на самом деле прищуренные, почти слипшиеся).

* * *

— Луна, а Луна, сколько лет тебе, оспенная?

— Ах, — жеманится небесное тело, — я же мальчик. Прошу обращаться ко мне в мужском роде, как в германских языках!

От этих слов в коллегии звездочётов сделался переполох. Ревел слон, клокотала реторта, и плавильная печь коптила. Смешавшись с толпой мудрецов, живой мертвец погрузился в межзвёздный пассажирский болид. Пушку прицелили на Луну, болид поместили в пушку, подожгли фитилёк, и снаряд увлёк пассажиров к небесному телу.

Ударившись о поверхность, железная корзина разлетелась на куски, ни один путешественник не вышел живым — кроме того, кто с самого начала был мёртв. С равнодушием он отметил, что спутники его пали, что брошен совсем один посреди лунного грунта. Куда ни обращал он взгляда, сколько ни озирался вокруг, нигде не находил ни существа, ни предмета, ни колеи лунохода. В конце концов он отправился в путь, решив идти до тех пор, пока не встретит смерть вторую.

Долго шагал он, взметая ногами кремниевую пыль, пока не вышел к месту, которое можно было принять за океан, поскольку оно безбрежно, и взгляд его, напуганный тем, что не способен достичь берегов, поспешил направить туда мысль, а мысль, подозревая, не конец ли тут всему, пришла к выводу, что искать больше нечего, и сущее встречается здесь с несуществованием.

Одинокая хижина стояла на расстоянии пистолетного выстрела. В окнах не горел свет, и дым не струился над крышей, и в расщелинах досок блуждала космическая пустота.

Он вошёл. Оглядев суровую обстановку, кинулся к телу, окоченевшему посреди комнаты на кровати, и беспокойно задышал над бедным маленьким трупом — целовал ключицы, увлажнял приоткрытые губы, пересчитывал языком рёбра, чего только ни вытворял для этого тела, но, как ни старался, оно оставалось сухим.

Лишь мимолётная искра, отблеск земного света, вспыхивала время от времени в низу живота, где подвздошная кость грубо вздымалась, натягивая прожилки.

Андрей проснулся с тошнотворной пустотой в желудке, с пересохшими глазами и мокрыми ладонями. Первая мысль была: кашаса. Но бутылка валялась пустой.

В смартфоне ждало сообщение от Габриэля: «Керидо! Я говорил с сеньором Вагнером. Тебя ждут на завтрак в Бразильской академии!»

Что за сеньор, да ещё Вагнер, и какая к дьяволу академия?! Ни о какой академии вчера не было речи, а сегодня его уже ждут на завтрак!

Вероятно, Габриэль расписал его академиком как знаменитого, востребованного на другом континенте писателя, даром что в действительности он был не более чем скромным лауреатом премии «Под зад коленом» и преданным вкладчиком альманаха «С высокой колокольни».

Как бы то ни было, в академии уже ждали.

Отправляться туда не похмелившись было самоубийством, но выбора не осталось. Он выволокался на улицу и, обливаясь потом, поскакал на Ларгу-ду-Ароши.

Посреди тротуара в широкой пальмовой тени стоял пластиковый белый стул. На стуле мужчина в белой рубашке читал газету, свесив руку к стаканчику кофе на земле. Визжал попугай, мотороллеры оглушительно стрекотали.

На Ларгу-ду-Ароши, у дверей академии, ожидал старик в круглых железных очках, старомодном пиджаке и галстук с золотой булавкой: это и был сеньор Вагнер. Вид и возраст почётного гостя заметно разочаровали сеньора Вагнера: он явно стыдился молодости Андрея, которого, в свою очередь, изумила ветхость принимающей стороны. На вид сеньору Вагнеру было лет сто.

Зарево полированной меди, умножаемое зеркалами, ослепило Андрея. Вместе со стариком они поднялись на лифте и, миновав несколько мраморных вестибюлей с внушительными муралами, ступили в зал для ежемесячных собраний Бразильской академии.

Вид собрания на мгновение отбил у Андрея тошноту.

Зал, полный роговых оправ, крапчатых лысин и лаковых тростей, искрился от бликов. Бумажные кульки с солёными орешками передавались из рук в руки. Ноги стариков механически твёрдо упирались в нежный паркет, из-под широких брючин выглядывали маленькие, будто кукольные, чёрные туфли. Ступая по залу, туфли грубо падали на паркет. Стук погибал в твиде.

— Poeta russo! — провозгласил сеньор Вагнер, болтнув запястьем в сторону гостя. Сотня столетних глаз устремилась на Андрея.

«Господи, — широко улыбнулся Андрей, заметив среди академиков католического священника, — откуда он взял, что я поэт?»

Тюрики с орешками устремились к пришельцу со всех сторон.

Угостившись орехами, Андрей захватил два бокала красного вина, ибо другой выпивки не было, и с менипповой ухмылкой принялся разглядывать академиков.

Сеньор Вагнер, слегка потеплев к гостю, рекомендовал собравшихся. Поочерёдно он подводил Андрея (успевавшего между подходами делать кашалотовые глотки из бокалов) к министру юстиции, верховному судье, директору симфонического оркестра, послу в Индии, губернатору штата, командующему военно-воздушных сил, начальнику полиции, епископу и тому подобным (надо сказать, ко всем этим чинам, за исключением епископа, применялось слово «бывший»).

От этой хлестаковщины наизнанку Андрей переполнился ликованием, его опять затошнило, и жидкость, не имея другого выхода, побежала в слёзные протоки.

Академики сдержанно кланялись, справлялись о ходе военных действий и уверяли, что Петербург — изумительный город, ведь там есть... Эрмитаж!

«Подумать только, здесь знают про Эрмитаж! Не осведомиться ли по поводу Чижика-Пыжика?» Отпивая большими, нескромными захватами, Андрей испытывал смесь облегчения с отвращением: красного вина он не терпел и решил поэтому пить быстрее. Внутренности, сведённые параличом, оттаивали.

— Что же вы всё-таки сочиняете? — зрачки стариков сужались от хрустального солнца, шеи удлинялись. — О чём, так сказать, ваши книги?

Густо потев и чаще открывая рот, чтобы хватить глоток, нежели высказаться, Андрей принялся толковать о писаниях, говоря об этом с беспомощным презрением, как о застарелой болезни. Багровая скука заволакивала лица собеседников, они прятались в твидовые панцири, выставляя взамен себя кукол, те кивали и поворачивались к Андрею

деревянными спинками. Он понадеялся найти среди академиков женщину — тогда он спасён! — но вокруг, даже прыгнув до потолка, нельзя было найти ни одной женщины.

Вот бы священник, подумалось Андрею, снял ружьё со стены, как в фильме Бунюэля, и прекратил мою бесполезную исповедь! Но святой отец, не видя тонущей души, налегал на орешки.

Наступало время завтрака, долгожители переместились в фойе и, разделившись на группы, дисциплинированно грузились в лифт. В ресторане по соседству уже накрыли стол, а когда скелетное общество расположилось, бормоча, и уставилось на собственные отражения (ресторанная комната по стенам и потолку обшита была зеркальными панелями, бесконечно умножавшими застолье), сеньор Вагнер постучал по бокалу и объявил, лучась в направлении Андрея вельзевульской улыбкой, что перед завтраком почётный гость академии по традиции обратится к присутствующим с речью, несомненно приготовленной им для этого повода заранее.

Андрей вспомнил о том счастливец под пальмой, на белом пластиковом стуле.

А н д р е й . Сдаётся, ты снова пытаешься меня в чём-то обвинить.

Ж а б а . О нет. Ты мужественно перенёс аутодафе в клубе благотворительных скелетов.

А н д р е й . Я всегда ладил со стариками.

Ж а б а . Ничего удивительного. У вас со стариками есть что-то общее. Замечал как старики осторожны? Осторожны — и невнимательны. Ты всегда был так осторожен, будто собираешься прожить целую вечность. Осторожен — и ужасно, до изнурения внимателен. Здесь уже ваше отличие.

А н д р е й . Поневоле писателю приходится быть внимательным...

Ж а б а . Взять, к примеру, клубнику. В прошлом году в Цюрихе ты купил клубнику на лотке уличного торговца...

А н д р е й . Неужели я был в Цюрихе?..

Ж а б аа потом мыл её со средством для посуды, чистил каждую ягоду, тщательно полоскал, пока из клубники не выскочили все зёрнышки. Подумай, чего ты опасался? Что клубника тебя убьёт? Что под видом зёрнышек скрываются гельминты? Но вот наконец-то ты мёртв! С облегчением, как говорится. Скажи теперь, есть ли место для осторожности там, где в запасе вечность.

А н д р е й *(неуверенно)*. Чем это несёт?

Ж а б аПоэтому, я полагаю, так славно, что ты помер. Остаешься ты в живых, не довелось бы нам с тобой разговаривать. И говорим-то мы всего ничего — можно сказать, ещё и не приступали, — а, странное дело, мне кажется, чем больше мы говорим, тем меньше удаётся сказать. Должно быть, это потому, что я совсем не хочу прекращать наш разговор. Мне не жалко для него и вечности.

А н д р е й . Повторяю: чем это несёт?

Ж а б а . Луна развонялась.

А н д р е й . Честно говоря... я запутался. Чего ты в конечном счёте добиваешься, утопить меня или спасти?

Ж а б а . Ни то, ни другое.

Глава III

Без всякого предварительного перехода Андрей увидел себя на мосту. Впереди, на предлежащей стороне реки, поднимались гладкие очертания архитектуры.

Без сомнения, во всей своей трупной прелести, во всей красе бледной нежити и окаменевшего слизня, перед Андреем предстал родной город — Некрополис. Здесь Андрей родился на свет и всю жизнь (по счастью, конченную) с гордо опущенной головой таскал на себе печать происхождения.

Однако... Он думал, что город сей утоп, погорел, развеялся, как галлюцинация, расквасился, весь вышел, протух (чего и заслуживал)... А он — тут как тут. Его только не хватало!

Тухлый городок выскочил на своего уроженца, как Носферату из трюма. С хохотом, как клоун из ящичка. Откуда, какого ляда он взялся? Какая воля выволокла его из забвения и швырнула Андрею в лицо?.. Сущность этого злого чуда необходимо было постичь.

Река, перламутровое свечение, лабиринтные нагромождения жёлтых стен, строгие линии, однообразные мощные плоскости — эспланады, брандмауэры... Всё было тем же самым — и не тем. Как низко сидел город, некогда многолюдный!

Андрей шагал по мосту.

Внизу, на ухабистом дне реки, иссохшей до капли, хлопали палаточные брезенты, хрипели костры, озаряя истерзанную, испитую почву. Между палаток, камуфляжных навесов и разбитых, растаскиваемых на дрова барок рыскали чёрные силуэты — ворохи всклокоченного тряпья; из тряпья топорщились во все стороны примитивные орудия... Вдобавок какие-то существа калибром поменьше сновали между костровыми треногами и барками, разбираемыми на топливо, и снование это заметно коробило подонков, требуя от них визгливого, дребезжащего тьяканья, разбивавшегося эхом о гранитную облицовку. Среди камней, перед крепостью, чернели проходы в земляные норы. Мерещилось, в этих норах шевелится, примагничивая взгляд, какая-то живая материя, но трудно было понять, стоя посреди моста, чем или кем наводнены катакомбы.

Чугунные русалки на чугунных перилах. Черенки рыбацких поплавков, давно бесполезных, торчали из земли.

— Оказывается, вы любитель помолчать...

Андрей собрался с силами, чтоб ответить, как вдруг в глазах собеседника прочёл сомнение, которое питал и сам: кто из нас произнёс фразу? Они оба заприметили друг за другом это дьявольское промедление.

Тогда второй слегка пожал плечами и выпрямился, подразумевая, что здесь, в сердцевине кругообразной тьмы, куда их занесло, дышится свободнее и легче, нежели по краям. Андрей кивнул в знак понимания, по-прежнему ничего не говоря, чтобы обострить положение. «Оказывается, я любитель помолчать», — бессмысленно повторил внутри.

— Кто вы? — проверил Андрей.

Впрочем, *кто* вёл его по мосту, придерживая иногда за плечо, точно бездна под мостом, где корёжились подонки, угрожала выхватить Андрея, — *кто* вёл его таким образом по широкому мосту, Андрей догадался сразу. Да и как было не узнать эти парчовые брыли, эту шляпу, пальто — не по погоде выбранную одежду. Небо висело бледно-бежевое, пустое. Луна отсутствовала, как не было и Солнца.

— Кто вы?

— Аменхотеп III 18-й династии, — съязвил спутник. Язвительность была до такой степени неуместна, что удостоверяла Андрееву догадку. Он знал, с кем на самом деле

говорит (тот шутил с таким видом, словно он — последний, до кого имеет касательство угрюмость и затхлость городка).

Стараясь поспеть, Андрей делал на ходу вокруг провожатого орбитальные дуги, меняя положение по широте тротуара, а тот придерживал шляпу. Сошли с моста и устремились в проспект.

Если идти с моста, по левую руку приходится соорудить Ноя Троцкого (впредь разорённое) и остановка, с которой Андрей ездил в школу. Справа, чуть дальше — дом № 11: здесь, во втором дворе, провёл детство. Нежно шелушилась стена: Андрей отнял фрагментик, сунул в карман.

(Вдруг, будто соль в костёр, вспыхнул вид из детского окна: спинки серых кошек, скользящих по свежему снегу, в сумерках. Андрей заперся в комнате. Сел за стол, распахнул тетрадь, медленно вывел: «Сегодня после английского Шароглянцева...» Дворколодец разрисован снежными зигзагами. Завтра то же самое: выглянет в окно, сядет, распахнёт тетрадь, выведет дату. «Сегодня Шароглянец опять...» Дохнуть не успел, как всё это пронеслось, улетающая в трубу, в могилу-Неву.)

Вслед за вожатым Андрей шагал по городу, казалось бы, выученному назубок, не чувствуя под ногами твёрдой поверхности, будто висел над пустотой без подпорок. Изредка попадались навстречу, скрипя челюстями, укутанные скорченные прохожие с жирно поблёскивающими, как изюм, глазками. Дорожные знаки скулили, барахтаясь на проводах.

— Что это здесь повсюду? Сажа какая-то, мошкара?

— Песок, — буркнул человек в шляпе, не глядя на Андрея. Песок гирляндами штопорил воздух.

Андрей наблюдал за вожатым всё ту же известную особенность: барахтящей скороговоркой и беглым движением пальцев сотрясать невидимую паутину, протянутую по всему свету, в разных модальностях и плоскостях. В этом городе он поставлен был курировать разговоры мёртвых, поить их вином, отскабливать от зеркал.

Несмотря на разруху, зданиям города была сообщена некая первозданность, они казались проницаемыми, и за каждым домом просматривался очерк его ближайшего соседа.

Дома просвечивали, истончившись до рыбных скелетов, и по аркадам этажей гулял ветер. Пустые окна складывались в телескопические анфилады, урны руин, сквозя и побивая друг друга в карточной игре или гадании. Ржавые, как горелый лук, трамвайные рельсы огрызались из-под земли. К городу подступал хамсин.

Вожатый был в чёрном пальто, широкополой чёрной шляпе, с некоторой щетиной на щеках и, как Андрей установил по спазмам, пробежавшим по физиономии, не вполне трезв (либо — и вероятнее — этими спазмами он повторял мускульные ощущения, близкие к желаемым). Вместе с тем ни малейшей надменности, хроническое недоумение, притопившее уголки рта.

И легкомысленный мотив на губах: «Я тоже был когда-то жив... И Финский я любил залив...»

От стремительной ходьбы пользы было не больше, чем от горчичников на могильную плиту. Но вожатый не сбавлял обороты. Он думал, что знает, где утолить жажду. Свернув в улицу налево и как бы в торце другой, ещё меньшей улицы, они нашли питейное заведение, существующее при бане.

В баре было накурено, только чад стоял не табачный. Из-за музыки посетители (в большинстве своём, как и прохожие, скрюченные и блестящие, как изюм) говорили

утомительно громко. Скоро Андрей понял, что музыки никакой нет: они перекрикивали друг друга.

Одни, немногие, кемарили над зловонными винами. Другие стояли друг против друга у высокого стола, похмелье царапало и кусало их внутри, они пожёвывали и сглатывали, шевеля сухими гортанями. Отрезками бумаги они слегка поглаживали губы. Над столами на длинных липких серпантинах издыхали, никак не могли издохнуть, мухи в огромном множестве. «Я лыка не вяжу», — чей-то безукоризненно чёткий, дикторский голос твердил.

Вожатый, приземлившись, как ворон, перед распорядителем напитков, спросил светлого пива. Ему мгновенно отказали, сославшись на какие-то «санкции».

Тогда он спросил красного вина — и получил сходный ответ с тем же обоснованием.

Теряя самообладание, он потребовал водки, но насупленный кельнер (присмотревшись, Андрей увидел, что это кельнерша), насупленная кельнерша лишь пожала плечами, указав на других, что клевали носом над кружками зловонной дряни с серным душком, редко отхлёбывая, и всё никак не могли дохлебать, исчерпать тягостные напитки.

Андрей заказал стакан воды, но кельнерша, пробормотав что-то насчёт засухи, колючим трением ладони об ладонь сделала шорох: ей и самой хотелось бы, да неоткуда нацедить.

— Как видите, — человек в шляпе растопырил плечи, — здесь нам не нальют. Знаю один дом, где можно попытать удачу. Отправимся!

Когда они выбрались на улицу из бара (что само по себе не дало ни малейшего облегчения) и прошли некоторое расстояние, оказавшись на перекрёстке пустынных улиц, названных именами двух незнакомых между собой поэтов, Андрей спросил:

— Почему те пьющие так болтливы?

Но вожатый переменялся и, раздумывая об ином, глядел в улицу. В воздухе мельтешили, сверкая, крупинки. Ничто не мешало, ни тень, ни прохожие, вступающему в свои права песку.

Некоторое время они торчали в неизвестности на перекрёстке. Подгоняемый ветром, диск яичницы-глазуньи с маслянистым шуршанием миновал перекрёсток и укатился в направлении реки. На востоке дымились бетонные зубцы бывшего концертного зала.

— Уму непостижимо и как, однако, примитивно! Всю жизнь я гадал на кофейной гуще, но смерть изменяет в итоге состояние вещей в нужную сторону. Сам поймёшь.

И действительно, рассудив таким образом, они повернули в нужную им обоим сторону.

Двор относился к ветхому и модерному дому — доходному ковчегу, севшему на мель в месте угрюмом и затхлом.

Идти нужно было во вторые ворота и второй двор, в дверь под навесом.

Нога тут же стала вязнуть в неопрятном месиве колотого кирпича, штукатурной трухи и блуждающих черепков кафеля. Андрей поскользнулся и полетел в глубь помещения, пополз в темноту чёрной лестницы, — Аменхотеп попытался ухватить его сзади, но рука просвистела мимо, — иссохший мусор вознегодовал, как гремучая змея, разгоняемый ногами. Андрей летел, вернее, ехал до тех пор, пока его тело не приняла на себя здоровенная обшарпанная дверь в подвал. Ниже хода не было. Вцепившись друг в друга, они стали карабкаться по ступеням вверх, где мерещился свет.

Яичные скорлупы усеивали кривую лестницу. Пахло плесенью, задувало пещерным холодом. Вожатый упирался в спину, поддерживая Андрея кулаком.

На этаже квартирная дверь (с утопленной в стену ручкой колокольчика) стояла открытой. Просторная прихожая, куда они вошли, тянулась в глубину, без подготовки, кажется, переходя в обитаемое помещение.

Запустение чужой квартиры навевало сон, сопровождаемый шорохами и тресками. Побывать во всех закоулках этого жилища казалось Андрею делом невыполнимым; одна мысль пройти её всю, от двери до двери, доставляла удовольствие как несбыточная мечта. Комки свалывшейся паутины хрустели под ногами, ещё скучнее становилось от того, что не представлялось, сколько здесь доведётся пробыть.

От распахнутых дверей они двинулись вдоль книжных полок и широких столов, заваленных книгами. Ледяная атласная вязь струилась по матовой белизне скатертей. Высокие потолки как бы парили в сиреневых сумерках. Створы высокого окна поскрипывали, за окном мотало ветром ветви, на подоконнике образовалась небольшая дюна. Андрей шёл вдоль столов, нагруженных книгами, шёл долго, скользя взором по стенам, краем глаза наблюдая, как, шипя, скользит подле него странная холодная ткань.

В центре комнаты, устроившись на раскладных низких стульчиках, как рыбаки, несколько сутулых типов готовили книги к отправке в костёр. Среди них Андрей никого не узнавал: лица «рыбаков» были тусклы, словно шершавы или мохнаты. Огонь трудился на упорном металлическом листе, пригвождённом к паркету.

— А чьи книги они расходуют? — указал на пироманов Андрей. — Свои собственные?

Шляпник пожал плечами: что значит «собственные»? Стены комнаты не просматривались из-за сплошного книжного стеллажа, расступавшегося только ради оконной ниши. Толстые стёкла, полагавшиеся для защиты книжных обрезов от пыли, были высажены. Кое-где свешивались за борт, как бы в надежду утопающим, длинные ляссе.

«Ты тоже будешь сидеть здесь и жечь книги, как рабочий крематория, — бормотал себе под нос Андрей без сочувствия. — А когда сожжёшь, восстанавливать слово в слово каждую книгу, и не приведи тебе чёрт допустить неточность. Сжигай, пиши, опять сжигай... Дьяволы буквы! Замертво восставать из праха, пока вас обвиняют, потом, измученными и растрёпанными, сызнова идти на корм смерти — никогда не стать ни живыми, ни мёртвыми».

Бумажные мертвецы горели долго и тускло, исходя рвотными искрами, точно костры изрыгали книги, давясь веленевыми страницами и переплётной кожей. «Вот, оказывается, что за зверь — *повторение*», — подумал Андрей.

Среди пылающих страниц попадались на вид совсем дряхлые. Андрея подмывало копнуть подготовленные к сожжению листки, расшитые книги, разрезанные журналы, сложенные рыхлыми вязанками клочки газет, в голове вертелись заглавия утраченных опусов, известных только в преданиях и пересказах...

Вожатый перебил мечты, утащив Андрея в коридор.

Им овладело желание съесть яйцо. Употребить в пищу белое куриное яйцо вкрутую. С сердцем, прыгающим, как обезьяна, Андрей лавировал в темноте коридора, исчисляя дорогу в кухню. Пройти нужно было через комнату, вытянутую, как трамвайный вагон, где вдоль стен в благодатных потёмках расселись в ожидании чая какие-то гости, безличные квартиранты, сумрачные и чащобные.

«Жгут и ждут», — суммировал Андрей.

В кухне на малом огне пытала кастрюлька, перед грузным пожилым мужчиной в прозодежде, сидевшим за столом, дымился чёрный, как дёготь, стакан чаю. Человек сидел, уткнувшись в чай. В глаза ему валил пар, очки в железной оправе то белели, а то прояснялись под воздействием пара.

Заметив Андрея, усевшегося подле на вязанке книг, человек выудил из кармана комбинезона две селёдочные головы и с детским видом протянул новопришедшему. Вежливым, но уклончивым рывком кистей рук Андрей отклонил несъедобную жертву. На носу кочегара выступали красные жилки.

Из закуски, кроме предложенных голов, вернувшихся в карман, на кухне было только блюдечко с маком. Оно стояло на столе, и человек в прозодежде, сделав глоток чаю, равнодушно косился на блюдечко. Иногда в кухню являлся кот и, обыскав углы, перемещался скачком на стол. Здесь он обнюхивал мак, разметая его семена по столу нюхами и чихами, находил мак несъедобным, тушевался. Человек в прозодежде качал увесистой головой (прибавил забот хвостатый!) и мочил в стакане палец, чтобы собрать семена, разнюханые котом по столу. После того, как медлительными усилиями весь мак до последнего семечка возвращался в блюдце, кот являлся вновь, теорема доказывалась бесконечно.

Единственный раз человек в прозодежде нарушил молчание и, с великим трудом преодолев застенчивость, пробормотал:

— Работаю стоматологом для животных, спасаю от гингивита...

И чёрным ногтем, выпрямив руку, ткнул в кота.

Вслед за этим в голове образовалась утечка: вожатый выволок Андрея за рукав прочь из кухни, из этого дома, где все коридоры вели на кухню с котом, блюдцем и стаканом чаю.

— Живой мертвец, невзирая на порядок слов, прежде всего мёртв, и лишь во вторую очередь противоестественно жив. Но вот стать трупом... По своей воле стать беззащитным, всецело зависящим какое-то время от живых, стать совершенно нагим, безмолвным, когда не поднять руки и не отвести от имени своего обвинения, когда остаётся лежать, увенчанным венцом своего безобразия! Кто признает в таком брата или возлюбленного?

На человека в шляпе, когда он рассуждал подобным образом, находил несуразный ажиотаж. Они бежали по лестнице вниз, а когда сошли...

Хамсин вступил в окончательные права. Серо-розовая пена охватывала город с окраин, откуда, поднятая бурей, медленно поддвигалась к центру. Тому, кто нуждается в дыхании, дышать стало бы здесь нельзя. Песок лез в лицо, стекая по сальным от пота щекам, как снег. Путь к реке лежал прямой.

По тротуарам перебежали, скользя и пересыпаясь, острые струи сухого песка, набиваясь в углублённые части зданий и закружляясь там воронками. Песок стремился по выветренным улицам с голым серым асфальтом, казавшимся горячее магмы, взвивался протуберанцами в человеческий рост, отвердевал, сверкая сернистыми гранями, хрустел и визжал от прикосновения, накапливая злобную мощь. Ветер оторвал у Андреева проводника шляпу, трепал его щетинистые брыли, пальто раздулось колоколом, и человек в шляпе, теперь бесшляпный, едва удерживался на земле. Через некоторое время, кроме чёрной конструкции моста, Андрей не мог различить почти ничего; наконец, от пальто и других предметов костюма не осталось и следа: хамсин разделался с вожатым (последнее «Ебёнь!» затерялось в малиновом зареве) и волок теперь Андрея к мосту. Какой-то ублюдок вылез из ресторана быстрого питания, держа в руке конверт с блином, песок густо залепил еду, как рой насекомых, субъект бросился зубами на еду — и провалился с головой в дюну. Ветер усиливался и нестерпимо начинал резать лицо. Было так горячо, так нестерпимо жгло, будто вся пустыня Аравийская тронулась с места, надвинулась, прижалась к Некрополису. На лету Андрей стал расчёсывать себе голову: из ушей, из расшитого черепа вот-вот брызнет мозг.

Андрея мысленно почему-то перенесло вдруг на обратный берег реки, в пространство пустынных равнин, по которым свободно гулял хамсин. Там, вдалеке,

медовым пятном сверкнул взнесённый на некую вершину город Давидов, затёртый вокруг песком; далее — опять пустыня с вихрями и жестокими порывами ветра; ещё дальше — в какой-то бесконечности, далеко-далеко, сверкнуло неожиданно открытое море. Дальше море уже не прерывалось, но оно становилось всё светлей и светлей. Над морем в небе местами распахивались бледно-сиреневые просветы, ещё дальше — и небо, и воды дышали бледностью, надоедая друг другу. Андрей хотел с криком броситься вперёд, но надменное пространство моментально исчезло, будто кто-то толкнул локтем в бок.

Глава IV

Жаба. Когда у тебя последний раз был секс?

Андрей. Слышал я уже эту песню про секс. Не для того умирал, чтобы опять всё сначала.

Жаба. А хоть бы и сначала, было б что начинать.

Андрей. Мы тащимся по кругу.

Жаба. Справедливое наблюдение. Но ты по-прежнему умалчиваешь кое о чём.

Андрей. И того, что сказал, не следовало говорить.

Жаба. Ты сказал, что перед отъездом из Бразилии на тебя свалились срочные дела, поэтому ты не пошёл к Габриэле — или, по-твоему, Габриэлю, — когда был наконец позван к нему домой. Не к родителям, не в компанию друзей, а *домой*.

Андрей. Я уезжал... Мне надо было закончить дела...

Жаба. Ап! И кто на сей раз повторяется?

Андрей. Но у меня действительно были дела!

Жаба. В носу ковырялся? Подстригал ковёр?

Андрей (*с сомнением*). Упаковать чемоданы, приобрести билет...

Жаба. Ну уж прости! Никак нет, мой генерал, растерзанная душа. На сей раз я за тебя рассказывать не буду. Ты ведь дотумкал, что значило это приглашение?

Андрей. Что дело пахнет керосином.

Жаба. Да ещё каким! И ты блистательно скрылся — чуть ли не под обои, чуть ли не пылинкой прикинулся!

Андрей. Ну, не так сразу, не вдруг...

Жаба. И точно! Невероятно ценная поправка! Сперва, прежде чем скрыться, как заправский клоп, под обоями, ты огорошил Алисона докладом о своём визите в академию.

Андрей. Старик окаменел: «Как! Ты ходил к этим ослам?»

Жаба. Что-то в нём хрястнуло, стопка тарелок рухнула. Не ждал он такого предательства. Он думал, вы союзники! Единомышленники! Старый аутсайдер и дрожащий гринго. А ты — побежал кланяться ослам, в стойбище, по первому зову, только пятки засверкали. Почётный гость! К ретроградам, клерикалам, душителям авангарда...

Андрей. Он уставился на мою рюмку. Потом на меня. Тряхнул мешковатым зобом. Глянул в телевизор: Рафинья, отплёвываясь, шлёпал к скамейке запасных.

Жаба. Это аллегория твоей отставки.

Андрей. Потом спросил: «У тебя осталось? Допей». Вот это и был финиш. Не приглашение Габриэля, нет... ведь, может, я и пошёл бы...

Жаба. Брось заливать.

Андрей. ...а это окончательное: «Допей». Мы допили, в последний раз вместе, он расплатился по счёту... Я как будто потерял отца повторно. «Ты никогда, — сказал я себе, — не будешь стариком. С таким спелым носом, сверкающе-гладкими ручищами, гримасами флибустьера...»

Жаба. Бедный маленький Ганс!

Андрей. Когда вышел из рестораника, надо мной собаки смеялись.

Жаба. Что там собаки: земноводные от хохота кишки рвут.

Андрей. Я сказал себе: остались только флешбэки.

Жаба. Под геркуланским пеплом.

Андрей. Автобус вздохнул. Обезьяна показала язык. Я подумал: «Кончилась Бразилия, сеньор Вагнер съел её на завтрак».

Жаба. Для протокола: он винит во всём сеньора Вагнера.

Андрей. Надо было уезжать. Плевать куда. Хоть к алеутам.

Жаба. У алеутов лучше не плевать.

Андрей. Я вернулся домой, лёг. На стене дремал сытый комар. Пальмы стояли неподвижно, сосредоточенно. Из окон хлестал сквозняк. Всё пропало, пропадёшь и ты,

друг бесценный, шелестел океан в полутора часах езды на восток. Пропадёшь, но не сразу, какая досада, не сразу и не целиком! Нас отрезают от нас по кусочку, методом медленной китайской казни. И тут, подле этого шёпота, мне было гнусное, отвратительное видение.

Ж а б а . Неужели увидел себя?

А н д р е й (*не придав значения*). Снилось это или взаправду произошло на вечеринке, где раскладывали Таро, я не припоминаю, да и не важно...

Ж а б а . Пьяному ещё и не такое привидится.

А н д р е й . Мы уединились с ним в родительской комнате или, больше похоже, в туалете (да и как спутать туалет с родительской комнатой? Разумеется, там ворковал унитаз), вся сцена увидена снизу, я стоял на коленях и разглядывал его ахиллесовы сухожилия, хотел облизывать их...

Ж а б а . Но побрезговал!

А н д р е йа потом изучал коленные впадины, обнюхивал бёдра, тыкался носом неуклюже и суетливо, как лиса перед тем, как вцепиться зубами и броситься наутёк с клочком мускула, старался поглотить каждую молекулу запаха, чтобы потом его воскресить...

Ж а б а . На ранней стадии привязанности запах полюбившегося сапиенса особенно важен.

А н д р е йно, к несчастью, аромат ускользал: пьяному всё вином пахнет. И всё же я рыскал по коже, выкусывая потихоньку горькие волоски — медленно, чтобы не причинить боль, задирал шёлковую юбку, чтобы наощупь выяснить: бельё под юбкой женское или мужское? Восхождение тянулось, время растекалось, как варенье по столу, и вдруг мои пальцы дотронулись до влажно-мягкого.

Ж а б а (*зевая*). Мальчик с пизззззззздой!

А н д р е й . Будто скрежет будильника.

* * *

Двое сидели на летней террасе ресторана. Несколько слов о том, что окружало сидящих.

Их окружала пыль, вырывающаяся из-под сандалий идущих мимо. Женщины в косынках, мужчины в чёрных шляпах, длинных чёрных сюртуках, накидках с кистями. Женщины в хиджабах, по двое.

Тощие коты с красными сопливыми глазами валялись в тени домов. Когда кот поднимается с земли, вид у него умирающий, измождённый. Лупцует язычком воду и снова валится под стену.

Лёгкие алюминиевые стулья впивались в дерево террасы. Пыль, бледно-сиреневое небо. Синие жакаранды цветут.

— О, какой же ты молодец, что уехал из этой обречённой страны! — воскликнул дед, глядя на жакаранды. — Чего ждал, спрашивается? Давно бы уехал.

О какой стране идёт речь? Ах да...

— Петербургу быть пусту, — пробормотал внук без всякой связи. Дед пропустил мимо ушей. Если такое говорили при рождении города, то как выразиться о его посмертном существовании?

Дед не сочувствовал культурологическим выкладкам внука. Для него город застыл позднесоветским Ленинградом (девяностые не в счёт) с жёлтыми икарусами, очередями в пивные ларьки, картофелепроводами для насыпки картофеля в сетки. Для него город умер.

— Эмек Рефаим, — объяснял дед, — в буквальном переводе означает Долина призраков, либо Долина исполинов. Выбери, что тебе по душе.

Тут Андрей кое-что понял про деда, а заодно — про себя. Дед приволок свой Ленинград сюда, в Долину призраков (она же исполинов), и восстановил однокомнатную обитель на Гражданке с точностью до выключателя.

И верно: именно до выключателя. Когда Андрей был младенцем, дед смастерил из скорлупы грецкого ореха выключатель-кнопку для ночника. И вот этот кнопка-орех, бывший младенца током, неизбежно существовал здесь, в долине, зажигая и гася ночную лампу. Не было уже Ленинграда, а орех-выключатель — был.

Лампа, тахта, стенные часы. Славная коллекция трубок. Развинченный мундштучок и пожелтевшая ватка. И орех-выключатель. Всё это казалось Андрею погибшим, — но на самом деле оно переместилось сюда и хранило неизбежность, покоясь на тесных и чистых плоскостях. Дед чистил ложки содой, содержал чайный гриб и ел несолёный рис, как советовали врачи.

Сюртуки, косынки, хиджабы текли мимо. Дед приподнял кепочку и вытер наодеколоненным платком лоб. Он заказал себе осьминога и уже полчаса смиренно ждал заказ.

На галстучном зажиме холодел аметист. Андрей жевал иудины уши под маринадом (азиатское блюдо, хрустит во рту).

В ожидании осьминога дед, наизусть затвердивший «Мастера и Маргариту» с тысяча девятьсот семьдесят какого-то года, затянул вдруг любимую главу (и Андрей, слушая деда, опять кое-что понял, как ему показалось, осознал — про Долину рефаимов, про деда, про себя):

— В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой... между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи...

«Прокуратор Иудеи! — подумал Андрей. — Куда он опять потащил свою плесень, этот прокуратор? Столько лет прошло, а прокуратор всё шаркает. Какой муторный, тощий текст. И деду не надоело его декламировать, с того же места! Помышлял ли дед, заучивая этот роман назубок по бледной машинописи (в то время как товарищ Суслов истреблял мух взглядом из телевизора), что спустя столько-то лет он и сам, дед, будет шаркающей кавалерийской походкой выходить между стенами двух соседних домов в Долину призраков, располагаться на летней террасе в лёгком алюминиевом стуле, заказывать осьминога и декламировать про *ненавидимый прокуратором город*... Какой же это, кстати, город? Уж во всяком случае — не Ленинград».

Бабушка, когда хотела уязвить деда, говорила: «Чего вы хотите от человека с фамилией на *-ский!*»

И человек с фамилией на *-ский*, уязвлённый бабушкой, плёлся в ванную комнату.

Выходил он из ванной комнаты гораздо менее уязвлённым, напротив, посвежевшим, оптимистичным. Секрет, далеко не сразу открывшийся бабушке, заключался в том, что под ванной имелся тайник. Тайники были оборудованы также в письменном столе, в стенных часах ОЧЗ и в прихожей, за висячим шкафом, где содержалась славная коллекция курительных трубок.

Скорее всего тайники были и в других углах, которые так и остались в секрете (беря в расчёт обширные книжные владения, покрывшие стены тесной квартиры на Гражданке, можно предположить, что тайников этих была тьма: схоронить в книжных дебрях плоскую фляжку коньяка — задача для ребёнка).

Он возвращался посвежевшим!

Вдобавок, как-то так ловко дед устраивался за свой «печатный станок» (пишущую машинку), что, будто по невидимой трубочке, коньяк проникал в его организм без заметного отрыва от печатанья. Предположительно, именно поэтому он работал не покладая рук: статьи, редакции, доклады, да ещё эти безбрежные «мемории» — легендарные, которых так никто и не прочёл...

Таким образом, дед разработал целую систему тайных источников, позволявших ему ретироваться из любой точки жилья, не возбуждая подозрений у бабушки. В

очередной раз продемонстрировав тем самым характерную для него интеллектуальную дисциплину.

Но однажды разразилась буря: система тайников во всём её вероломном хитроумии открылась бабушке.

Бабушка словно получила пощёчину. Она поносила легендарные «мемории» словами, которых «мемории», конечно, не заслуживали. Она собрала вещи, собрала внука, и с тех пор они посещали деда изредка, с растущими интервалами.

Иногда с переговорной миссией к деду выезжал отец. «Я нейтральная сторона», — застёгивался отец. «Никто тебя не просил», — отмахивалась бабушка. «Я независимое лицо», — настаивал отец. «Не твоего ума это дело», — пожимала плечами бабушка. И отец выезжал.

Переговоры проходили долго, дед встречал зятя с разносолами, уговаривал на ночёвку. Отец тактично отклонял ночёвку, возвращаясь домой в землетрясенческом состоянии.

Сперва внук звонил деду раз в неделю. Потом раз в месяц. Потом раз в год. Потом дед уехал, а отец умер.

Никто, кроме деда, не звал его «Андрюшенькой». Дед — единственная форма жизни на планете, любившая Андрея до помутнения рассудка.

Интересно, сохранил ли он систему тайников здесь, в Долине призраков? И зачем она здесь? Вся земля Ханаанская ему — тайник. Или наоборот! Усовершенствовал систему до такой степени, что круглосуточное капельное орошение не требует ни тайников, ни гидравлических трубочек...

— Адски шикарно! — цепляя салфетку, дед пристреливался к осьминогу. Тарелка в кои-то веки приземлилась перед ним.

Ж а б а . Позволь спросить: чем кончилось твоё видение?

А н д р е й . Какое видение?

Ж а б а . Где ты пальпируешь своё сокровище.

А н д р е й . Это был просто сон. В вечер перед отъездом я забился под одеяло и видел сон.

Ж а б а . За окном пекло, а ты — кутаешься в одеяло?

А н д р е й . В простыню. Предположим, я кутаюсь в простыню.

Ж а б а . А билет купил?

А н д р е й . В землю Ханаанскую. С пересадкой в Дубае.

Ж а б а . И, стало быть, кутаешься в кокон, превращаясь у себя в постели в страшное насекомое.

А н д р е й . В книжную моль.

Ж а б а . С головы до ног, как мумия, обмотался.

А н д р е й . Только «форточку» для воздуха оставил.

Ж а б а . А глаза закрыл?

А н д р е й . Сургучом запечатал, но это не помогло.

Ж а б а . От чего не помогло?

А н д р е й . Я продолжал его видеть. Его... детали.

Ж а б а . Ахиллесовы сухожилия?

А н д р е й . И волоски на запястье. И подколенное сухожилие сбоку, когда нога полусогнута. И ушной хрящ — когда розовеет, просвечиваемый солнцем.

Ж а б а . И весь дом изгваздал своим трусливым секретом.

А н д р е й . Да что там дом. Всю Латинскую Америку.

Ж а б а . Насчёт Америки, пожалуй, дудки.

А н д р е й . И слёзы мои, что называется, приношу тебе.

Ж а б а . Слёзы, как говорится, да не из глаз. Ты опять ушёл от вопроса.

А н д р е й . А какой был вопрос?

Ж а б а . Чем кончилось видение. Ты изучал нижнее бельё.

А н д р е й . Да, действительно. Бельё оказалось самым обыкновенным.

Ж а б а . Из хлопка?

А н д р е й . Из обтягивающего белого хлопка.

Ж а б а . И ты проник под бельё?

А н д р е й . Я ничего не трогал, только смотрел.

Ж а б а . Ты у нас осторожный.

А н д р е й . Он лежал на полу, раздет до трусов. Кожа у него под одеждой казалась такой же смуглой, как на руках, на шее... Даже более смуглой. Две линии бежали, прорисовывая мышцы на животе. Откуда ни возьмись в руке его появился великолепно заточенный карандаш. Мне показалось, что грифель сделан из стали, так он блестел. Сквозь ткань трусов, не снимая их, Габриэль покалывал себя этим грифелем, сперва ненавязчиво, проверяя границы, до которых может дойти. Закрыв глаза и постепенно, градуируя наступление боли, всаживал грифель сквозь белую хлопковую ткань, ранил себя, пока нестерпимая боль от раны не пересиливала наслаждение. Потом делал выдох и опять колот, не открывая глаз, в другое место, куда ещё не пробовал, но всё так же — сквозь белую ткань. Когда ткань намочила, он перестал отличать наслаждение от боли, трусы заалели от струек крови, и он так бережно и настойчиво продолжал ранить себя до тех пор, пока не измучил вконец, пока сквозь хлопок не выползло жабье молоко...

Ж а б а (*всколыхнувшись*). Почему это «жабье»? с какой радости ты называешь его «жабьим»?

А н д р е й . К твоему сведению, так называли его индейцы Южной Америки, твои земляки. Ты лучше разбиралась бы в этом, если...

Ж а б аесли бы читала книги. Ты уже говорил.

Продолжительная затычка погружает кладбище в полумрак. Воспользовавшись низкой видимостью, Андрей поправляет румпель. Рёв туманного горна издали сотрясает пустоту.

* * *

В четыре утра над Долиной призраков раздавался призыв к молитве.

В шесть утра пробуждались соседи сверху: шлёпали, пели песни, пользовались смывом. Попугаи кисло трещали, ворковали горлицы.

Андрей проснулся трезвым и до того удивился своей трезвости, что захотел обратно уснуть.

Приподнялся на кровати и взглянул сквозь москитную сетку на бледно-сиреневое, испитое небо: «Я как рыба в мангровом лесу».

Из уличной мусорки выпорхнул кот.

Дед уже воцарился в кухне, поддерживая запахи чифиря и табака. Холодильник трепыхался, будто стиральная машина.

— Как же я счастлив, что ты уехал из этого говнишника, из этой распроклятой страны!

Андрей умом оставался в Бразилии и не сразу понял, что речь идёт о другой «распроклятой» стране. (В нём чадил стыд. Он чувствовал указующую силу перста и горечь последней рюмки. Он хотел проклясть бразильского модерниста, но при одной мысли об этом удавка стягивалась ещё крепче.)

— Ну, наконец-то мы вместе! Будешь теперь у меня жить, — ликовал дед, обводя кухню рекомендательным жестом.

«Ну, это вряд ли», — подумал Андрей.

Вдоль стены, плотно к кафелю, стояла шеренга маленьких баночек с рисом, отмачиваемым в воде. Рис, подготовленный по методу, поедался с целью вывода токсинов.

— Между прочим, вся моя библиотека — к твоим услугам, — агитировал дед, помня расположение внука к таким материям. — Знаешь двенадцатитомник Кузмина? Пойдём, покажу!

И действительно: одинаковые томики «М. Кузмин. Проза» щеголяли за стеклом превосходной сохранностью суперобложек.

Тут Андрею почудилось, что дед забрасывает наживку покрупнее, чем книголюбство. Или обе наживки сразу? Решил отвести разговор.

— Надо же: да у тебя тут вся «Academia»!

— Не только собрал, — похвастался дед, — но и вывез! Посмотри: вот Пруст, вот Платон...

Подбор авторов, избираемых дедом для пропаганды книжного собрания, встревожил Андрея уже всерьёз. Андрей почувствовал, как волосы на ногах ошетинились. «Может, он только прикинулся, что ничего обо мне не слышал за все эти годы?»

— ...а вот Андре Жид!

«Ну уж нет, весельем такой разговор не кончится».

— Пойду разомнусь... — ретировался Андрей. — Погода сегодня хорошая... — и шагнул, обливаясь потом, за порог.

Дед помахал из окна. Каждым движением ему удавалось выразить нежность.

В саду, куда вели разваливающиеся ступеньки прямо из кухни, между кипарисами, болталось собственное дедовское изобретение — ловушка для насекомых. Напоминала она водяную резиновую грелку, только прозрачную. Мухи летели на гнилостный сладкий запах приманки и застревали в «грелке». Полчище насекомых с жужжанием и вонью теребило лапками в смертельном сосуде. Одинокая оса, теснимая мухами, вращала треугольной головой.

Андрей застегнул за собой калитку и углубился в узкие зелёные улицы.

Была суббота. На улице между домами, отделанными песчаником, ни транспорта, ни прохожих. Где-то в пустой квартире захлёбывалась лаем собака. Пелись трапезные песни. Бесцветное небо затопило мягким светом сады.

До встречи с князем, назначенной у древнего мусульманского кладбища, оставалось ещё время. Андрей брёл вдоль запертых магазинов, равнодушно мечтая о бутылке.

Во всей долине одна магазинная дверь, с выжженным от солнца объявлением, скрипела, впуская и выпуская редких субботних потребителей. Перевода на иврит объявление не имело.

Дорогие сограждане,
жители славной столицы Иерусалим!!!
Вы, как никто понимающие все ужасы войны,
помогите мирным гражданам,
терпящим гуманитарную катастрофу!!!
Список разрешённых пожертвований приведены.

«Вы, как никто», — повторил Андрей машинально. На соседнем листке давались наименования «разрешённых пожертвований»:

Стерильные хирургические повязки и стерильная хирургическая одежда;
аппараты внешней фиксации при травмах;
одноразовые хирургические лезвия (скальпель) — устройства VAC (лечение отрицательным давлением (NPWT)) для ран и их расходные материалы;

маски ВМ (сумка Ambo) (ручной дыхательный аппарат);
полиэтилен в рулонах — № 2, 3, 4, 5;
НЕОСПОРИН и аналогичные;
медицинские повязки;
наборы для анализа крови (большие, малые);
наборы для санации больных (личной гигиены);
жесткий воротник (регулируемый воротник);
дыхательные маски;
иглы для торакопункции;
ножницы для раскроя одежды и обуви (атравматические);
шприцы с иглами (разного объёма);
стерильный материал для лечения ожогов (ожоговый щиток, бинт и т. п.);
дефибриллятор;
носилки;
термоодеяла;
подгузники (детские, взрослые);
термобельё (мужское, женское, детское);
спальные мешки.

Дочитав объявление, несколько раз он повторил про себя: «Шарлемань». Ему захотелось стать тяжелее, прижавшись к земле, и позвоночник от этого слова наполнялся оловом.

* * *

В назначенном месте — на углу Бен-Сайра и Шломо ха-Мелех — князя не наблюдалось.

«Прячется на кладбище», — сообразил Андрей.

Так и было. Князь сидел на могильной плите, широко раздвинув исхудалые ноги в грязных брезентовых штанах с поместительными карманами, и забивал косяк. На вид ему было между двадцатью и сорока, — точнее сказать невозможно. Борода не росла.

— Как твои дела? — проговорил князь, как всегда, полушёпотом, не глядя на собеседника.

Андрей задумался. Как мои дела, чёрт меня дерит? «Ничего нового»? Вряд ли удовлетворительный ответ: ведь и старого тоже ничего. Значит, за неимением нового или старого, просто «ничего»? Тоже не годится: звучит так, будто всё путём. А всё далеко не путём. Да и никакого «всего», строго говоря, не существует, — так, нечто среднее между «ничем» и «неизвестно чем». Но не отвечать же на вопрос «как дела?» длинным витиеватым рассуждением о том, что значит «нечто среднее между ничем и неизвестно чем»...

Андрей промолчал, сев рядом.

Князя нередко можно было найти примостившимся в глухом закоулке мусульманского кладбища, среди мёртвой растительности и пепельно-серых древних гробниц с истёршимися надписями. Он курил травку, перелистывал книгу из тех, что подобрал на улице, — на французском, корейском и прочих недоступных ему языках. Между могилами в острой выгоревшей траве хозяйничали ящерицы. Кроме князя (и Андрея, когда тот приходил навестить приятеля) на кладбище никто не заглядывал.

Князь обитал везде и нигде. В любое мгновение он мог сняться с бивуака и с рюкзаком, куда помещался весь его скарб, с подушкой в прозрачном футляре, с трубой и с косяком в зубах двинуться в путь.

Зарабатывал князь чем попало, а чаще ничем. Питался орехами и сухофруктами, которые виртуозно рассовывал по карманам, прохаживаясь по рынку Махане-Иегуда.

Ночевал летом на кладбищах, зимой в подъездах, а когда столица надоедала ему, садился на автобус до Тель-Авива — и проводил дни на море.

Сто раз князь приглашал Андрея отправиться в Тель-Авив, но Андрей упрямылся. Он избегал Тель-Авива. Чего стоила только улица под названием Chlenov, не говоря о сотнях, если не тысячах гуляющих в коротеньких шортах, с рельефными спинами, смуглыми шеями, обценными усиками, лоснящейся шерстью на ногах... Нет, уж лучше компания ортодоксов, не отрывающих глаз от Торы!

Почему Андрей называл его князем? Как они познакомились, в каком году, что их сближало? Андрей расспрашивал князя, но безуспешно: князь ничего не помнил.

Лишь раз память озолотила князя:

— Мы познакомились с тобой на Литейном!

— При каких обстоятельствах? — встрепенулся Андрей.

Князь задумался. Сгустились сумерки. Таракан пересёк гробницу.

— Ну как, вспомнил что-нибудь? — спросил Андрей.

— Не знаю... О чём?

— О Литейном. Ты сказал, мы познакомились на Литейном. Что именно произошло между нами?

— При чём тут Литейный? О чём ты вообще? Хватит говорить загадками, — князь сморщил брови и затеплил самокрутку.

Что-то свело их вместе, что-то незапамятное. В остальном у них решительно ничего общего, за исключением бегства с *корабля дураков*.

Бежали они, впрочем, в противоположных направлениях.

Во всём они были противоположны, но разными путями прибыли к одной станции: кладбищу.

Живописному мусульманскому кладбищу, режущему глаз желтизной своей выгоревшей травы.

— Мне пора, — сказал Андрей.

— Одолжи немного денег, — сказал князь, не глядя.

— Ты не вернёшь, — сказал Андрей.

— Какая ты всё-таки задница, — сказал князь.

— Мне завтра прийти? — уточнил Андрей.

— Завтра я уезжаю в Англию. Можешь не приходить.

Андрей прекрасно знал, что ни в какую Англию князь не уедет. Завтра он снова попросит у Андрея взаймы, и Андрей, как обычно, откажет. Князь обидится, но через день забудет о том, что был обижен, а через два — забудет, что уже просил взаймы, и снова попросит скромную сумму в долг...

Вдруг князь промолвил:

— У тебя нет ощущения, что нам обоим по сто лет?

Такой точности Андрей не ожидал! Он думал, что князь скovyрнулся уже от травы, но тот не переставал подсовывать мышеловки своих пронизательных сентенций.

Ведь и правда: на двоих им было не меньше двухсот, как могло быть иначе? Они тащились неизвестно куда, облепленные рваньём, присаживались то и дело на камни, выбивались из сил, князь покуривал шмаль, Андрей отхлёбывал втихаря из бутылки. Опережая по очереди один другого, расходясь и сближаясь, волоча один чувство вины, а другой — страх, они плелись так долго, что забыли, куда чёрт погнал их.

— Я курю, а тахикардия — у тебя. Ты пьёшь, а у меня похмелье. Не это ли нас объединяет?

Князь давным-давно перестал понимать, кем он был: гоем или евреем, геем или натуралом, бунтарём или резонёром, обывателем или поэтом, а главное — какая между ними разница. Острее всего он чувствовал вину — но за что, в чём был виновен? Это он тоже забыл.

Потому винил себя решительно во всём.

— Ты бледный, как гриб в разрезе, — сказал князь, приблизив своё лицо к лицу Андрея. — А всё из-за моей травы. Ты такой бледный, потому что я шмалю.

И принялся скручивать косячок.

— Климат Востока, — возразил Андрей, — губителен для нас, чухонцев...

Но князь хмыкнул неодобрительно, задымил ноздрями, заиграл хрящами.

— Нет, это я всё делаю неправильно, только я. Сплошные ошибки! Посмотри на меня. Вот сейчас я смолю, косяк за косяком. Какая низость! Скольких людей убили, пока я смолю. Думаешь, совпадение? Как бы не так. Совпадений не существует!

Князь был убеждён в своей личной ответственности за эпидемию, диктатуру, войну, несчастья друзей и любую несправедливость. Во всём был виноват он и только он — насельник арабского кладбища, уличный музыкант, пилигрим Босха.

Он внимательно глядел на Андрея и прикасался к нему исподтишка, точно в поисках телесного недуга: чтобы немедленно взять на себя вину.

Дело по-настоящему усугублялось тем, что князь был солипсистом. Солипсизм служил фундаментом его убеждённости в единоличной вине. Коль скоро катастрофа разворачивается в сознании, она неотвратима, пока это сознание не погибнет.

Таким образом, он чувствовал себя виноватым лишь в том, что творится в его задымлённой голове; но, поскольку в голове этой творилось решительно всё, избежать ответственности он никак не мог.

Лгать — этого он никак не хотел. Но, поскольку всё, что он говорил, было, с его точки зрения, одновременно правдой (в пределах замкнутого сознания) и враньём (в том мире, где никто ему не верил), он получался ещё и лгуном... И терзал себя за ложь.

— Мир не без мёртвых людей, — потеплел князь.

Весёлым он становился ещё несноснее. От кладбища рукой подать до Старого города.

Было уже поздно, ласточки устроили гонку в темнеющем воздухе. Чтобы попасть к Стене Плача, надо было выбрать сторону, половой вольер: налево — с мужчинами, направо — с женщинами. «Какую бы сторону выбрал Габриэль?»

Андрей вынул телефон, чтобы сделать снимок Стены, и не успел прицелиться, как увидел прямо в кадре, что к нему приближается, маша руками и расточительно улыбаясь, незнакомое создание.

— До девяти вечера здесь нельзя фотографировать, сегодня же шабат, спрячьте телефон! И обязательно используйте шапочку, — всё это смуглый черноволосый незнакомец выпалил по-английски и, подхватив Андрея за локоть, повёл к пластиковому аквариуму с одноразовыми головными уборами.

Андрей выловил из прозрачной коробки лёгкую, тоненькую белую ермолку и поместил на голову.

Незнакомец взглянул на Андрея, на его потерянный вид в ермолке, и захохотал.

— Так вы русский! — взбурлил незнакомец. — Я сразу понял!

Повертев уныло в голове барабанчики с разными сортами вранья, Андрей пробормотал в ответ, что, хочешь не хочешь, а получается, что так.

— Как вы меня определили?

— Очень просто. Вы угрюмый и бледный. Я ведь знаю это лицо: путешествовал по вашей стране.

«Нашей, ну да», — усмехнулся Андрей, хотя смешного тут было не больше, чем в необходимости выбрать мужской или женский вольер.

— Как вас зовут?

— Николай, — представился Андрей.

Незнакомец поглядел на Николая с энтузиазмом и подозрением, будто колеблясь между братскими объятиями и пощёчиной.

Таракан, сверкающий, как кадиллак, притормозил у ноги Андрея.
И тут незнакомец — — поведал — — — что он — — — — родился и вырос — в Бразилии.

— Вы не поверите, — Андрей вновь почувствовал на себе тот указующий перст, — но я как раз оттуда. — И присовокупил все известные ему слова на португальском, что заняло не более четырёх секунд, зато немедленно склонило чашу сомнений бразильца в пользу братских объятий.

— Хотите, заглянем туда, — указал в левый угол Стены, — в синагогу? Скоро закончится шабат, в храме зажгут огонь, будет мята, — (что именно произойдёт с мятой, Андрей не понял), — сами увидите! Мы никому не помешаем. Главное — не доставайте телефон и держите голову под шапочкой.

Сказав это, бразилец устремился к дверям синагоги, помещение которой скрывало часть Стены.

У самого входа незнакомец с настойчивостью бортпроводника повторил:

— Вы запомнили? Шапочка, — (большой палец вверх), — и телефон, — (большой палец вниз).

В синагоге молящиеся юноши, мужчины, старики в чёрных одеждах и в головных уборах разнообразнейших модификаций стояли или сидели, обратившись к Стене, бормоча, покачиваясь, поглаживая бороды, теребя книги, держась за молитвенные столики, которые покачивались вместе с молящимися, толкая друг с другом или прогуливаясь по храму, делая небольшой жест. Значительная часть мужчин пребывала в коловращении: они входили и выходили из синагоги, отроки сновали между ними, и даже одна девочка лет пяти рыскала под ногами.

Бразилец завёл Андрея в самую гущу.

— Вот увидите, совсем скоро!

И действительно, в определённую минуту, наступление которой не было резким, однако совершенно отчётливым, евреи поднялись со стульев и, раскачиваясь с нарастающей энергией вперёд и назад, возвысили голоса.

— Это приближает их к состоянию, напоминающему экстаз... — спокойным шёпотом прокомментировал бразилец, как вдруг — и Андрей не успел бы произнести слово «вдруг», так быстро случилось то, что сейчас случилось — бразилец отлетел от Андрея, словно волна религиозной страсти разбилась об него, и тяжело, как рулон линолеума, упал на спину, опрокинув пустующий моленный столик. Руками он схватился за лицо, точно не желая, чтобы оно отвалилось.

Андрей кинулся к нему — но тот отвечал жёванной скороговоркой по-португальски, глядя студенистыми глазами в потолок.

Через минуту, тянувшуюся, как пустыня, бразилец восстал с пола.

Первым делом, восстав, он сорвал с головы, скомкал белую религиозную шапочку и отшвырнул прочь; затем извлёк из кармана телефон, включил и, теребя экран пальцем, завёл разговор с молодым безбородым евреем, что с самого начала наблюдал за метаморфозой бразильца с видом человека, слушающего избитый анекдот.

Бог знает, чем кончилось бы это для Андрея, но, вероятно, та же энергия случайности, что забросила его в храм, теперь заставила двинуться с места и выйти, растворившись в шумном потоке ортодоксов, на открытый воздух.

Ж а б а . И ведь ничего этого не было?

А н д р е й . Ровным счётом ничего.

Ж а б а . Однако некоторые детали взяты из жизни?

А н д р е й . Верно. Отдельные частности позаимствованы из бытия.

Ж а б а . Понравилось тебе в синагоге?

А н д р е й . Да, хотел бы остаться в ней жить.

Жаба. А про бразильца, стало быть, сказки?
Андрей. Про бразильца — чистая правда.
Жаба. Не бывает таких совпадений!
Андрей. Тоже мне совпадение. В мире пруд пруди бразильцев.
Жаба. Тогда с чего ему биться в падучей? Скорее уж ты сам рухнул пьяный.
Небось весь Старый город заблевал. А свалил на бразильца.
Андрей. Смее уверить, я был трезвый, как минерал.
Жаба. В чём же ты солгал? Про этническую принадлежность, угаданную с первого взгляда?
Андрей. Кому придёт в голову такое выдумывать? Что может быть проще, чем распознать болотную ряху?
Жаба. Значит, надо выяснить, врёшь ли ты, когда утверждаешь, что всё выдумал, или же когда божишься, что каждая подробность взята из действительности.
Андрей. Только жаба может увидеть здесь противоречие.
Жаба. Так ты, оказывается, всё ещё считаешь меня жабой?
Андрей. А ты меня — ссыкуном?
Жаба. Щепетильным блевуном. «Ой, простите! Ах, извините!» — и всё вокруг заблевал. Интересно, куда ты отправился, заблевав Ханаан?
Андрей. Как куда — прямо сюда, на родину Альенде.
Жаба. Знаешь, ведь это я сейчас лукавлю, а не ты. Мне теперь глубоко безразлично, врёшь ты или нет.

* * *

Тараканы везде. Тараканы торчат из-под холодильника. Тараканы высовываются из рюмочек. Сплюсненные тараканьи тушки глядят вместо портретов из рам. Как из коробки с сюрпризом, таракан выскакивает из-под крышки унитаза. Таракан бежит по тёрке: с каждым шагком его лапки, срезаемые тёркой, укорачиваются, до вершины тёрки он добирается почти без лапок, голым безногим тельцем валится с тёрки и лежит у её подножия кверху брюшком. Тараканы бредут сквозь анфилады дырок в сыре, пазухи хлебного теста, макаронные перья, ноздри и уши спящих сапиенсов. Разодетые в смокинги и вечерние платья, как в фильмах Старевича, тараканы играют на фисгармониях, стреляются на дуэлях, глядят в телескопы, покуривают голландские трубочки, читают книги Берроуза, смотрят кино о других тараканах. На всех отпечатках физиономий Фридриха Ницше вместо пары взъерошенных усов шевелятся мадагаскарские тараканы. Сверкая латами, армия тараканов наводняет римские акведуки, висячие сады, александрийские библиотеки, египетские пирамиды, великую китайскую стену, диоклетиановы термы, монгольские степи, татарские пустыни, замок Отранто, дом Ашероу, подземелья Ватикана, лунные моря и солнечные пятна... Сдаваясь без сопротивления, преисподняя встречает тараканов как триумфаторов, и сам Вельзевул зажимает нос прищепкой, чтобы отделаться от заполонившего преисподнюю тараканьего зловония, и забивает уши окаменевшей ватой, чтобы не слушать их каретный хруст.

Лишь одно существо во всём космосе способно оказать сопротивление таракану, только он один обладал забытыми секретами и новейшими способами изготовления отрав, за долю секунды лишаящих таракана жизни. И существом этим был дед.

Каждый вечер, не исключая шабат, с пунктуальностью английского дворцового очередной таракан появлялся из-под унитаза. И каждый вечер дед стоял наготове с пульверизатором, надетым на пузырьёк, в котором заключалась созданная по собственному рецепту новейшая отравка.

Дед презирал профессиональных дезинсекторов и, кроме того, хранил возможность испытывать на живой популяции действие своих противотараканных составов.

Годы в ленинградском НИИ дед посвятил изучению инфекций и вирусных заболеваний, переносимых паразитами — соседями человека: грызунами и насекомыми. Хребты альбомов и атласов по энтомологии и медицинской географии возвышались в квартире. Регулярно деду приходили письма из разных уголков мира (особенно часто почему-то из Швеции) от таких же, как он, ревнителей борьбы с паразитами.

Итак, ритуал убийства совершался каждый день, и дед, словно культурный герой первобытности, побеждающий хтоническое чудовище, вставал у истоков очередного цикла мифологического времени, делая его соразмерным времени человеческому.

Дед был и остался для Андрея математическим иероглифом, совершенной скульптурой. Его мировоззрение было своего рода логической машиной, обнажавшей сухой скелет всех вещей. Если б Андрей спросил деда, какова суть и тайна всего сущего, дед ответил бы скорее всего поджарой и логически безупречной формулой, от которой мороз побежит по коже. Поэтому Андрей ничего такого не спрашивал, предпочитая оставаться пленником в лабиринте заблуждений.

Страхи, страхи Андрея! Они бросаются, как крокодилы, откуда ни попадя. Несутся наперерез по каменному тротуару с табуном тараканов. «Маленькие говнюки», — думал Андрей, уступая дорогу.

Мир казался ему испещрённым прорехами, из которых сочилась тревога и угроза. Чтобы забивать эти прорехи, как крысиные норы забивают колотым стеклом, приходилось собирать как можно больше фраз, полу-образов, недо-мыслей, — сколь угодно противоречивых, наивных, досужих, гривуазных и фанфаронских. Сознание Андрея действовало подобно коллекционеру.

И пока Андрей коллекционировал, перебегая с места на место и суясь на мгновения в доступные закоулки, дед обезглавливал досужие помыслы, отбрасывал лишние сущности, отсекая их сверкающей восьмидесятилетней сталью, чтобы оставить единую, неуничтожимую, как небесная механика, суть.

— В каком странном мире я очутился! — думал Андрей. — Под одной крышей со своим старым Оккамом, посреди Долины призраков, где то и дело разносится азан с окрестных минаретов, коты устраивают рыцарские турниры, а сердобольные женщины швыряют им с балконов угощения вместе с тарелками: угощение летит в одну сторону, тарелка — в другую...

Сладковатый запах выхлопных газов, источаемых неподвижной машиной с человеком внутри, сочился в окно. На москитную сетку выскочила желтобрюхая ящерица, нацелила острую мордочку на какое-то насекомое, лениво карабкающееся по сетке, но скоро ретировалась: учуяла клопа.

Таракан, наглотававшийся дедовской отравы, уже полумёртвый, в темноте коснулся лапкой Андреевой ноги, как будто прощаясь: «Спокойной ночи... — Скатертью дорога...»

Ж а б а . Просто скажи «да».

А н д р е й . Не умею я говорить «да».

Ж а б а . Сознайся, что, во-первых, все твои оправдания — разновидность самоублажения. Во-вторых, ты ведь уже догадался, *что* тебе предлагается, и главное — *кто* тебе это предлагает.

А н д р е й . У меня не осталось желаний, я труп.

Ж а б а . Ты всегда был трупом, это не влияет. Я могу ублажать тебя бесконечно, и буду делать это именно так, как ты бы мечтал: чтобы не оставалось слов.

А н д р е й . В любом случае у меня нет причин говорить «да».

Ж а б а . О, *причины!* Ты увидишь их, если перешагнёшь через своё упрямство. А пока что я тебе предлагаю последнюю помощь.

А н д р е й . «Последняя помощь» звучит как-то по-медицински. Хотя ты не выглядишь как медик.

Ж а б а . Ты понятия не имеешь, как я выгляжу.

А н д р е й . Как это понимать?

Ж а б а . Понимай как раз так, как тебе хотелось бы.

А н д р е й . Можно подумать, у меня нет глаз!

Ж а б а . Тогда не верь глазам своим! Неудовлетворительные глаза.

А н д р е й . Что за гадкий треск у тебя в брюхе?

Ж а б а . Кивсяк переваривается.

Пауза.

А н д р е й . Я всего лишь труп.

Ж а б а . Тоже мне новость. Комедия смерти! Ты всегда был трупом. Представь лучше вот что. Создание или, правильнее сказать, существо — мужское ли, женское, неважно (хотя, полагаю, ты как всегда остановишься на женском, убедив себя, что оно мужское) — которое в сотню раз смазливее Шароглянцева, в тысячу раз соблазнительно-гибельнее Габриэлы (или, по-твоему, Габриэля), и если ты преуспеешь в этом суггестивном упражнении и получишь таким методом вид своего эталонного распутного инкуба (умоляю, однако, не представляй самого себя!), то затем, имея в воображении данного инкуба, постарайся устремиться мысленно к идее такого телесного воплощения, рядом с которым данный инкуб покажется тебе каракатицей, недоноском, плюгавым чучелом!

Пауза, во время которой происходит несколько затяжек. Зелёный столб дыма, клонясь на ветру, устремляется в облака.

Ж а б а . Так вот, возьми теперь в свой ум: даже и это последнее телесное воплощение, которое ты только что старался себе вообразить, не превосходит по соблазнительности то, что я предлагаю тебе и о чём толкую. Никаких отречений, ничего взамен от тебя не потребуется. Слово «да», — что может быть проще? И не смотри на меня, не пытайся соблазнить своё сердце. У меня мясистые ноги, проворные пальцы и мускулистое горло. Ты видел такое только во снах.

А н д р е й . Ты просто стараешься окончательно уничтожить меня.

Ж а б а . О, я знаю твой недоверчивый характер! Приближайся ко мне спокойно, как владетель, и целуй в рот. Ответь, разве мои губы так холодны? Ты и представить не можешь, какое лакомство тебе приготовлено. Не борись со мной. Я знаю твои фантазии от первой капли до последней буквы; ты так долго хранился взаперти, что тебя спасёт только бесконечное наслаждение. Кожа за кожу! Если тебе хочется женщину, я женщина, если хочешь мужчину, я мужчина.

А н д р е й . Ты повторяешься. Не для того умирал, чтобы опять всё сначала.

* * *

На прощание дед подарил Андрею счастливого кота манэки-нэко.

Глава V

Разнёсся трубный глас, взревели сирены воздушной тревоги, жужжанье многих разом согнанных мух заполонило атмосферу, что-то вроде чавканья грязи или шлепков по мокрой заднице присоединилось к торжественной канонаде, и тогда...

Утренняя эрекция. Случается ли у живых мертвецов, скажите пожалуйста, утренняя эрекция? Исполинская, неутомимая, настырная.

Вверху он видит только белый, белейший, как Антарктида, потолок. Слева, справа, впереди — того же цвета стены.

Пусть же он приподнимется над жёлто-серым с голубоватой искрой, как вязкий кусок бри, собственным телом и посмотрит в глаза: неужели мертвец? И неужели комната, всё вокруг — такое же творожное месиво, как его слепые бельма, хоть бери ложку и выскрёбывай из глазниц?

Дряхлое, как собачий лай, чередование выдохов и вдохов. Чистота без единой мухи, без щетинки на мушиной лапке.

Андрей встал и подошёл к окну. Улица, застроенная одноэтажными домами, обитыми листовым железом, выкрашенным в различные некогда яркие цвета, пролежала в пустоте. Всевозможная рухлядь свалена в мрачную грудку без какого-либо порядка и необходимости посреди улицы.

Он выступил за порог, приставил руку козырьком ко лбу, натянул пальцами веки и увидел тогда яснее: впереди, перетаптываясь на месте, чёрная угловатая лошадь обсасывала мёртвые стебли, торчащие из земли.

Который теперь час? Андрей не умел определять время по солнцу, а если бы обнаружил такое умение, не смог бы воспользоваться им, поскольку солнце не находилось, у него не было положения. Расправив крылья, как египетский жук, солнце унеслось отсюда, сверкнув на прощанье бронзовыми надкрыльями... Но его сверкание до сих пор плескалось в осиротевшем небе, омывая то одну, видную, то вторую, скрытую, его область. Ночь наступала во время отлива.

Поодаль, ничуть не интересуясь восставшим с одра мертвецом, валялась косматая шкура какого-то животного (а может, животное целиком, но Андрей различал только клочок колышущегося меха), поигрывая в пыли хвостом. Как далеко от этой шкуры до дворца Ла Монеда, где гремят бомбы.

С невероятной быстротой продолговатые волокнистые облака, как вяленое мясо, миновали небо. Вдоль обочины, где стелилась мёртвая трава, следовала жёлтая, сухая полоса. Она представляла собой смесь из мусора, земельного пороха и сросшихся в корку кристаллов соли. Андрей увлажнил палец и погладил круговым движением корку. Солёный палец оказался во рту.

Зевнули нейроны, засуетились электрические импульсы, и Андрей внезапно подумал: «Кто же я такой?» Костлявая чёрная лошадь исчезла, оставив кучу. Наверху, в астрономическом ведомстве, дело шло к ночи. Синева повсюду густела, захватывая пространство, и когда Андрей сдвинулся с места, ему показалось, что оттуда — из перспективы, где только что фигурировала лошадь, — ветер приносит капли солёной влаги.

Клочок живой шерсти уже нельзя было различить посреди густеющей асбестовой пыли. Может статься, что шерсть разрасталась в пыли, пропитываясь тьмой, как небо, утолявшее жажду солнцем, и если мертвец вернётся сюда, он не найдёт свою дверь в белую усыпальницу, да и улица с домами исчезнет под разгулявшейся косматой массой.

Он продвигался вперёд, не считаясь с направлением, как не считается с ним тот, кто движется по узкому чёрному коридору, движется так долго, что уже не знает, как угодил в коридор и куда направляется.

Знает ли он хотя бы своё имя? Он был творческой личностью и, как всякая творческая личность, не лишённая честолюбия, церемонился с собственным именем, как с

горячей картофелиной. Но имя это говорило ему теперь не более, чем всякое другое слово, — как если бы его звали Прямоугольник.

Ни жив ни мёртв он ступал в густеющую темноту, соединяясь с ней и не отличая самого себя от неё. Тело, скормленное темноте.

Один и тот же вопрос раздавался в его непонятливой голове. Кто я, где? Он тасовал в голове примеры из книг, свирепой кавалькадой сцены из живописи проносились перед ним, но соответствия им не находилось.

Если бы за каждую прочитанную книгу давалась крохотная монетка, драхма, обол, серебряник, он стал бы богатейшим живым мертвецом в истории. Правда, как всем уважающим Харона мертвецам, ему пришлось бы хранить свой капитал во рту — и выплёвывать, изрыгать его всякий раз, когда приходится умирать.

У него не было собеседников, а чтобы обрести их, надо перемещаться, выбирая между разными точками пространства такие, где кто-либо присутствует.

Медленная сцена перемещения Андрея в пространстве навеивает скуку. Достаточно сказать, что город, по которому плёлся живой мертвец в поисках собеседников, оказался самым унылым, тоскливым, пустынным и убогим местом на свете. Сгущающаяся тьма в значительной мере избавляет от необходимости его описывать, если только речь не идёт об описании едва уловимых градаций тьмы.

Но пока тьма не накрыла городок окончательно, Андрей успел полюбоваться рядами одноэтажных домиков, обитых листовым железом. Жёлтые, бирюзовые, салатные и прочие выжигающие глаз краски, которыми были покрыты железные листы, к счастью, давно облупились. В щелях под облупившимися листами гулял ветер, песок и потоки дождя, от порывов ветра несчастные листы трепетали и хлопали по деревянным сваям, как плавники, будто дома старались уплыть из города, но отлив оставил их задыхаться от собственного ничтожества на отмели. Светофоры на перекрёстках были погашены, и ветер расхаживал по городу без остановки. По улицам хлопающих домов Андрей стремился туда, где подрагивала вода и очертаний материальных объектов более не обнаруживалось.

Последним, что Андрей сумел различить в темноте, прежде чем поверхность земли расплзлась под его ногами (он ступил на песок), была жестяная табличка на невысоком накренившемся древке, предупреждавшая об опасности цунами.

Ни одной живой души вокруг.

Андрей желал бы зарыться в песок, но песок этого не желал. Он думал утонуть, но нечто подобное, как подсказывали отблески воспоминаний, с ним уже происходило. К тому же вода оказалась такой холодной, что, будь она пресной, уже превратилась бы в лёд.

Он устроился в небольшом углублении на песке. Им овладело уныние («Мои одеревеневшие в судороге ноги никогда не коснутся морского дна. Мои внутренности и гениталии не пойдут на корм промысловым рыбам. Какая досада!»), через минуту сменившееся скукой, так что ему пришлось тискать язык зубами, чтобы не клонуть носом.

Внезапно, уже почти сдавшись сну, он услышал тоненький шепелявый взрыв с фейерверком песка, коснувшегося своими частицами Андреева лица. Какая-то незримая тварь в самом деле чихнула рядом с Андреем, а потом повторила этот фокус на некотором отдалении и даже слегка охнула от разочарования, что не сумела скрыться.

— Кукуете? Здесь легко простудиться, холодный ветер...

Голос твари оказался ни женским, ни мужским, ни животным. Он вибрировал, был ласковым — и никаким.

Тварь, по-видимому, снова переместилась в пространстве и, начав беседу, не торопилась её продолжать. Андрей поинтересовался у твари, видит ли она его, и крохотный камушек немедленно впился Андрею в шею.

Прошло с четверть часа. Тварь молчала, монотонно пыхтел прибор, из темноты, всякий раз из нового места, доносился плеск жидкости, заключённой в сосуд: тварь прикладывалась к бутылке.

— Здорово помогает при хроническом тонзиллите, — пояснила тварь заплетающимся языком, когда Андрей в очередной раз повернул голову вслед бутылочному плеску. Вместе с плеском являлось сверкание, будто тварь подкидывала в воздух широкое полированное лезвие.

Когда тварь отваживалась говорить, голос её бурлил во тьме, мешаясь с плеском выпивки в бутылке, который, в свою очередь, мешался с плеском прибора: тварь изъяснялась на языке брожения, настаивания, осаждения, дистилляции, вспенивания, испарения, прихлёбывания, на диалекте всасывания и излёвывания. Стекло сверкало, жидкость кидалась к горлышку — и тварь делала глоток, вслед которому, навстречу грохоту волн, разлеталось застенчивое эхо отрыжки.

Изредка вместо отрыжки тварь изрекала какую-нибудь сентенцию в следующем высокопарном роде:

— Подобно праху Помпея и сыновей его, останки людей рассеяны по всему миру...

Тварь, как Андрей довольно быстро сообразил, изъяснялась цитатами.

Чтобы хоть как-нибудь поддержать разговор, он выложил первое, что нашлось в голове. Он спросил:

— Гениталии у тебя есть?

Стекло мгновенно блеснуло, напиток хлынул в горлышко, тварь зашептала себе под нос, будто что-то отыскивая в карманах или составляя смету, и наконец упрямо, как бы не в ладах с собой и настаивая на правоте, фыркнула неразборчиво.

Защищаясь от сна, Андрей черпал руками песок и сжимал его до такой степени, чтобы песок впивался в руку до боли. Как если бы берег затопила луна, только не в световом, а в звуковом измерении, два никому не нужных существа у воды на некоторое короткое время были озарены глубоким корабельным гудком.

Когда гудок прервался, снова были лишь камни, груды камней, убегающих в воду, а также невидимая безымянная тварь с бутылкой, пляшущая вокруг Андрея, сотрясая воздух глотками, отрыжкой, икотой, зевками, рвотными спазмами, иногда цитатами:

— В узкой части Магелланова пролива приливная волна движется со скоростью 8 узлов...

Да, они в самом деле прозябали на берегу пролива, только не в узкой, а в одной из самых широких его частей, что в тёмное время, впрочем, не играет ни малейшей роли, поскольку не видно было ни дальнего берега, ни акватории пролива, ни суши, на которой они прозябали.

Не двигаясь с места, Андрей кутался в спиртовой дух, волочащийся за тварью, что наматывала круги в пространстве. Но теперь одной фразой, одним обиженным выкриком, Андрей остановит её скачки, сверкание, бульканье, отрыжки, цитаты.

— И кто я такой, получается?

Тварь не ведала, что собиралась рассказать. Да вы и сами попробуйте, высадив столько пошла, сколько высадила тварь, провести свой рассказ по линейке. Один за другим слова твари вспыхивали и гасли во мраке под синуситное кряхтение Магелланова пролива.

Словно охотник, Андрей застиг тварь, выражаясь фигурально, на краю ловушки в виде ямы, замаскированной листьями, и столкнул её туда одним внезапным вопросом: «И кто же я такой?» Со дна этой ямы жеманная болтовня твари звучала определённое, поскольку яма, даже оставаясь метафорой, служила мощным звукоусилителем.

Пьяная тварь начала притчу со слова *ибо*, сопровождавшегося интонационным восклицательным знаком, а также целым потоком никак не связанных между собой слов, пресекавшимся почему-то на немецком *Dreck*.

Этот рассказ представлял собой вначале орнаментальную ритурнель и сопровождался такими глубокими, многозначительными дыхательными упражнениями, точно незримая тварь надувала своё тельце воздухом, и, надуваясь, подогревала воздух в лёгких, а тот приподнимал её над пляжем, как аэростат.

О нет, никуда-то она не воспаряла, несчастная тварь, и, словно под воздействием земного притяжения, речь её делалась всё прозаичнее.

В том, что и как рассказывалось, Андрею мерещился кое-какой призыв — скрытый ингредиент беспощадной жестокости. И, хотя тварь относилась к той категории пьяниц, которые с каждым глотком смягчают и расплываются в облаке благодушия, в её иносказании *о покинутом жилище* (или же *о мызниках*) была какая-то безоглядность, точно этот незамысловатый *exemplum* поминутно отсекал мазохистскими ножницами предыдущее звено собственного змеевидного тела.

Говорилось здесь об идиллической жизни на старой мызе, о таком утопическом, райском распределении времени, что невольно приходила на ум Андрею сладостная мысль о Телемском аббатстве Рабле.

Красноречие пьяной твари в этой точке повествования достигло расцвета, который мешают мне передать книжность и косность присущего мне языка.

На той старой мызе время оставалось в известной степени неделимым, будто там стоял один-единственный день со своим ветхозаветным распорядком, утвердившимся в результате Большого взрыва.

Тварь не отказала себе в удовольствии предаться перечислению, назвав всё, что известно о распорядке жизни телемских мызников.

В шесть утра — пробуждение. Выдворение летучих мышей, угодивших за тёмное время в комнаты. Извлечение подушечных перьев из причёсок и завтрак из пяти неизменных блюд, сопровождающийся зачитыванием листка из отрывного календаря. После завтрака в более или менее произвольном порядке на мызе совершалось:

- распутывание запутавшихся флагов,
- приготовление к приёму всегда отсутствующих гостей,
- сбегание и восхождение по деревянным лестницам,
- кормление чайного гриба,
- поймка растрёпанных сквозняком газет,
- полдник мышеловочным сыром,
- поправка здоровья араком, кашасой, сакэ, аквавитом, туаком, писко и бренивином,
- поджигание крылышек мухам,
- безуспешные, как обычно, попытки дозвониться самим себе,
- заполнение дневника наблюдений за облаками,
- колка орехов,
- поливка настурций заваркой,
- хватание за занавески, как за руки,
- кормление аквариумных тритонов,
- отделение поршнем вишен от косточек,
- перечитывание одной и той же страницы одной и той же книги,
- увещивание вылизывающегося кота,
- молитвенное прошение святому Христофору об избавлении от путешествий,
- подглядывание в бинокль за похотливыми соседями,
- облизывание конвертных уголков,
- испещрение стен переводными картинками,
- приём ванны с пеной и резиновыми пищалками,
- нанизывание грибов на ниточки для высушивания,
- истребление комаров,
- расщепление волосков,

осоление соли,
прослушивание научных пластинок с кваканьем, уханьем, воем, лаем, гиканьем,
цвиканьем и другими звуками животного царства,
просмотр гривуазных диафильмов,
сон грядущий

— и сон, возвращающий всех обитателей мызы в тот же самый игриво-
задумчивый, медленно-кулинарный день.

Но в один из этих подобных самим себе дней обитатели ни с того ни с сего бросили старую мызу.

Никто не ведает, что заставило их сдвинуться с места, навсегда забыв елисейское житьё. Известно лишь, что в одно прекрасное утро чемоданы были брошены на пол и наскоро заполнены консервами, сменами белья, медикаментами, приборами для навигации, лёгким дорожным чтивом и остальными предметами, необходимыми в путешествиях.

И когда со всем скарбом мызники двинулись в путь, восходящее солнце приходилось им по левые руки. Всё стремительнее удалялись они от старой мызы, от прежней жизни, не оборачиваясь, без слёз и без длительных остановок в пути, будто жажда бегства подменила им рассудок.

Не брезгуя никаким транспортом, пользуясь дрезинами и фиакрами, вельботами, субмаринами, канатными трамваями, фуникулёрами, ходулями, лыжами, долблёнками, катамаранами, финскими санями и портшезами, они гнались сквозь пространство, как стадо обезьян с горящими хвостами.

Что гнало их прочь, по ту сторону всех реальных и фантастических границ? Твари это было неведомо, так же как сами они не знали ничего, кроме стремления к бегству.

Здесь, на пороге ледяной антарктической пустыни, достигнув южных пределов обитаемого мира, исчерпав дорожные запасы и изведя на корню любую оседлость, не в силах двинуться дальше, они вымерли поголовно, голые и рвущиеся за пределы собственных тел. Тростник хрустел и ломался под их последними поползновениями. Морские волны, испуская гнилостный запах, прочавкали над их оледенелыми останками погребальную речь. Что до останков, то при помощи местных жителей и карабинеров они были погребены на муниципальном кладбище имени Сары Браун, где, вероятно, пребывают до сих пор.

Пока тварь изрыгала притчу, рот Андрея — тонкий рот мертвеца с влажными израненными губами — разрывался зевотой от скуки. Мертвецы, надо заметить, самая прагматичная часть человечества. Пусть бы тварь выдала ему хоть краткое прорицание, справку: кто он? откуда, зачем явился? что-нибудь, кроме имени! Но что возьмёшь с твари, бесполой алкоголички...

Впрочем, прежде чем возвратиться в хаос, завершив полный круг речевой метаморфозы, тварь намекнула, в очередной раз что-то процитировав, на преследующую её невозможность прямого высказывания и (булькая опивками на дне бутылки) на жестокую ограниченность в лингвистических средствах — дескать, судьба изъясняется не на языках, а сквозь окружающие вещи. И, будто идя тем самым на уступку в благодарность за компанию, тварь упомянула, совсем уже разбиваясь мордой об дню, о некоем надгробии в форме жабы и даже — о Небеса! — о собеседнице... И тут окончательно перешла на винегрет из цитат и нечленораздельных стонов, на влажно-пузырчатый лепет, нежные шлепки по песку и едва уловимые всплески, разбегающиеся во всех направлениях одновременно.

— Как тебя зовут? Ты Бакбук?

Но твари уже не было, и Андрей, окаменев в тишине, думал о том, что слышал от неё напоследок, — о какой-то могиле с надгробием в виде жабы, которая дожидается его на муниципальном кладбище имени Сары Браун.

* * *

Несколько слов о мумиях.

Мумиями в Чилийской республике называли националистов, ультраправых, христианских демократов, буржуазию — коалицию противников президента Сальвадора Альенде.

Не сумев отстранить Альенде конституционными средствами, мумии выбрали стратегию государственного переворота.

29 июня 1973 года в 9 утра танковое соединение в составе шести единиц атаковало президентский дворец Ла Монеда. В течение часа танки вели перестрелку с президентской охраной, оборонявшей дворец.

Парламент и судебная власть хранили молчание. Радио и газеты мумий аплодировали восставшим мумиям.

Большинство офицеров, считая, по-видимому, что благоприятные условия для переворота ещё не сложились, не поддержало путч.

В 10:30 верные президенту войска под командованием генерала Карлоса Пратса вошли в Сантьяго.

После короткой стычки танки мятежников отступили от Ла Монеда. Хотя борьба ещё не окончена, президент республики вернулся во дворец.

К полудню танковый заговор потерпел окончательное поражение. В тот же день левые рабочие по всей стране взяли управление фабриками, компаниями, рудниками, сельскохозяйственными предприятиями.

Лидеры ультраправой организации «Родина и свобода», скрывшись в посольстве Эквадора, признали тем самым своё авторство путча.

«Сранные мумии, улица принадлежит нам!» — орали манифестанты на улицах Сантьяго.

Тем временем, военные (пока ещё верные Сальвадору Альенде) проводили рейды по всей стране в поисках тайников с незаконным оружием, которое могло бы послужить для нового мятежа.

8 июля три вертолёт и две сотни солдат военно-воздушных сил Чили высадились на Общем кладбище Сантьяго. Распечатав гробницы и склепы, они ворвались в места упокоения, но не нашли там ничего, кроме костей.

2022—2023